

АЛЬБЕРТ КАРЫШЕВ

СОН

(СБОРНИК)

Альберт Карышев
Сон (сборник)

«Карышев Альберт Иванович»

2017

Карышев А. И.

Сон (сборник) / А. И. Карышев — «Карышев Альберт Иванович», 2017

«Смерть уже подступала ко мне, когда я был помоложе, но смилостивилась смерть и не отделила душу от тела. Теперь я устаю, старею, и душа моя готовится к стремительному полету меж звездами. Я примерно знаю, как это произойдет. Душа покинет тело скоро и бесшумно, но не прямо вырвется на свободу – сперва минует длинный коридор, тоннель или глубокий колодец, в которых встретит образы близких мне людей, покойников разных поколений, а в конце она увидит свет солнца, такой же праздничный и тревожный, какой поражает младенца, выходящего в мир людей из лона матери. Тоннель я помню хорошо. Моя душа достигала его середины, но потом вернулась назад, в тело...»

© Карышев А. И., 2017

© Карышев Альберт Иванович, 2017

Содержание

Из историй переселения душ	5
Душа Малыгина Дмитрия	5
Душа Ульянова-Ленина	11
Душа самоубийцы	15
Душа ребенка	22
Душа матери	26
Душа Глеба-дурачка	30
Душа Альберта Карышева	34
Из хроник грядущего	38
Сон	38
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Альберт Иванович Карышев

Сон. Повести и рассказы

Из историй переселения душ

Душа Малыгина Дмитрия

Доктор подержал мою левую руку за запястье и, не прощупав пульс, опустил на кровать, приложил мне к груди мембрану фонендоскопа, задрал пальцем веко и посмотрел в неподвижный глаз. Я слышал над собой его жесткое дыхание через нос, при плотно сжатых губах, и представлял знакомое молодое лицо – серьезное, худошавое, с усиками, с белым шрамом поперек верхней губы. Когда он отошел, мелкими женскими шажками приблизилась медсестра и мягко натянула мне на голову простыню. Они действовали как немые, но я понял, что скончался. Сердце мое сделало последний такт своей циклической работы, еще колыхнулось и замерло, а сознание тлело, словно остатный уголек очага, и я думал о том, что происходит, чувствовал движения врача и медсестры, обонял запах карболки, которым пропитался воздух реанимационной палаты. Хотелось крикнуть: «Я все понимаю! Уберите простыню с лица! Мне это не нравится!», – но крикнуть я не мог. Сестра с доктором вышли из палаты. Последним, что я запомнил, пока не сделался мертвецом, был нарастающий гул и стук колес железнодорожного состава. Поезд налетел, обдал жаром, оглушил меня и скинул в глубокий колодец, где в черной тьме мелькнули страшные красные искры, осветив гнилой сруб. Неожиданно сруб стал пурпурным, с прожилками – как срез яшмы, – гладким, винтообразным, и я заскользил по винту. Сознание оборвалось, как струна, со звоном, и то, что мистики прозвали душой, покинуло мое тело.

Душа так душа. Пусть «душой» называется «биополе», копившееся в живом теле, или, может быть, еще что-то реальное, не объясненное наукой, что не исчезает и не появляется, лишь меняет форму. Я покинул собственную оболочку: личность моя в виде незримой материи воспарила под высокий потолок и оттуда глядела на длинный костенеющий труп, закрытый простыней. Зрение было ясное, острое, но не такое напряженное, как при жизни, когда чувствуешь шарики глаз и глазные орбиты, а «бесплотное», спокойное, холодное, причем сразу по многим направлениям: у души нет зрительного органа, она смотрит вся. Я мог, словно жидкость или газ, проникнуть в любую щель, но подзадержался в реанимационной палате, где плоть моя с иглами капельниц в локтевых венах и дыхательной трубкой во рту отлежала последние три дня перед кончиной. Отошел я в сознании и вел себя молодцом. Думаю, врачи удивлялись моей стойкости; это была стойкость мудреца, я всю жизнь готовился к смерти. Мне было грустно оттого, что я умер, жаль было оболочку. Знали бы вы, люди, как тоскует одинокая душа, как хочет опять воплотиться в человека и вернуться в живой мир!.. В палату пришли санитары, отправили труп в морг, и мое «я», душа, которую я так и буду называть – «я», – улетела на волю.

На другой день видел вскрытие тела: медики рассматривали его внутренности и судили, от чего больной Малыгин умер. Наблюдал я и то, как тело передавали родственникам. Два дня труп, положенный в красный гроб, находился дома у нас. В комнате зашторили окна, завесили темной бязью высокое зеркало. Возле стола, занятого гробом, в полумраке, меняя друг друга, стояли жена, взрослый сын и мои брат с сестрой, приехавшие на похороны издалека, а наша восьмидесятисемилетняя мать сидела на табуретке, в валенках и теплом платке, слабой рукой крестясь на гроб и покачивая согнутое, как коромысло, высохшее немощное тело. Я витал

здесь же и хотел, чтобы близкие присутствие мое заметили, чтобы знали: то, что они истинно любили в покойном, – живо по-прежнему, но мне удалось лишь прошелестеть по обоям – как бы обдуть их легким ветром, – поколебать штору удалось, качнуть стеклянные подвески люстры под потолком, напоминавшие весенние сосульки, даже звякнуть подвесками я ухитрился.

Тело отвезли на кладбище, на связанных полотенцах опустили в яму. Шел бисерный октябрьский дождь, парило. Сырой глинозем липнул к подошвам, заступам и рукам – я видел, как одна из женщин, бросив горсть земли в могилу, чистила руку о мокрую погибшую траву, потом вытирала носовым платком, – и глухо ударяли тяжелые комья о крышку гроба: стук-стук, стук-стук-стук, шлеп-шлеп...

Народу приехало не очень много – все уместилось в одном автобусе, шедшем за погребальным; больше собралось на поминках в ресторане. Отрадно мне было, что люди тянулись и тянулись на мои поминки; иных я прежде никогда не видел, но они меня, наверно, знали понаслышке. Отрешенно сидела за столом моя жена Вера, не ела и не пила, вздыхала; к старой матери жался сын, выше ее на голову, в два раза шире в плечах, он хотел успокоить мать, гладил по спине, но сам был несчастен и, несмотря на крупную мужественную фигуру, казался мне бедным сиротой.

Брат Иван, взяв рюмку в корявую руку, сказал с хрипотцой:

– Пусть земля ему будет пухом, хороший Митька был человек. В ученые вышел. Рано убрался, очередь не соблюл. Я вот постарше, а жив. Эх, брат, брат!

– Уж такой хороший, такой хороший! Лучше не бывает! – прошептала наша сестра Катюша и приложила к глазам кончик траурного платка. Она тоже состарилась, но была младшенькая в семье и до сих пор умиляла меня кротостью. В детстве мы с Иваном защищали сестру от мальчишек, а в юности гоняли по деревенской улице ее ухажеров.

– Да, это так, – тихо сказала обо мне жена, и сын согласно кивнул. Он недавно стал дедом, красивым, с серебром в усах. Мой внук Виктор, славный молодой папаша, сидел тут же, к месту хмурился и поглаживал то волосы на голове, то выбритый подбородок.

– Малыгины всегда были людьми, – добавил брат сурово, точно его оспаривали. – Никто слова дурного не мог сказать про Малыгиных.

За столом раздавались еще чьи-то голоса, восхвалявшие меня; а я думал: «Разлюбезные! Да не хороший я был! Не праведный, а грешный! Что за несуразный обычай превозносить мертвого? Пока человек жив, вы редко говорите правду о нем, не кривите же душой после смерти человека!» Покойный Малыгин любил растянуться на диване и чтобы жена чесала ему пятки. Иногда спал до полудня, ленился бриться, ходил по дому в линялых спортивных штанах с обвислой мотней, пузырящимися коленками. Сыну все это известно, но Вера, слышу, рассказывает ему, какой отец был собранный, дисциплинированный, волевой, и сын соглашается. Куркин толкует, что я был смел и принципиален, умен, талантлив, но знает коллега-профессор, что больше всего на свете я страшился начальнического гнева и после вызова «на ковер» не спал три ночи, пил валерьянку; что до таланта – заветной нашей мечты, – то какой уж там талант – может, только отдельные его крупинки, в основном я, конечно, брал усердием, «штанами». И ломали меня, и принципами поступаться доводилось, и друзей обижал, и, уже человек семейный, увлекся чужой женщиной. Эх, если вспоминать все, от стыда и сожаления долго будешь корчиться в судорогах, и напряжение твоего поля станет легко замерить вольтметром. Тяжело раскаивается душа покойного в наказание за его мирские грехи – тяжелее души живого. Но мне наскучило видеть собственную тризну, захотелось одиночества...

На улице все так же частил мелкий дождь, самый противный из дождей – капли с маковое зерно, а пробивают плащи прохожих насквозь, как охотничья дробь; но мне было безразлично, у души нет физических ощущений. Поднялся выше, коснулся лохм серого облачного слоя и медленно, как дым из трубы, поплыл над городом. Интересно, что, когда летаешь в форме

абстрактной материи, предметы на земле выглядят искрящимися и приближенными, точно смотришь на них в сильный бинокль – для покинувшей тело души существуют свои законы перспективы.

Город внизу искрил голубыми и зелеными искрами, иногда проскальзывали искры оранжевые. Не думаю, что это вспыхивали заряды атмосферного электричества – скорее, биополей. Люди, кошки и собаки просто осыпались искрами, деревья постреливали ими, как головни в костре, а дома, машины, телефонные столбы слабо мерцали. Город мой поздней осенью уныл. Хохлились под изморосью, как огромные белые птицы, его многочисленные церкви, скучали парки и скверы, по тротуарам двигались зонты, похожие на перепонки летучих мышей. В одном сквере я заметил парочку, сидевшую с поднятыми воротниками на мокрой скамье, под кленом с редкими, уже бурными листьями, которые покачивались ненатурально, словно жестяные. Юноша и девушка целовались, искря, как бенгальские огни. Им дождь был нипочем. Я хотел еще посмотреть на влюбленных, вспомнить молодость, позавидовать, но не стал, полетел дальше, желая парочке: «Любите сильнее, целуйтесь крепче, ярче искрите. Но иногда вспомните о смерти, чтобы ее не бояться. Смерть – продолжение жизни. Когда-нибудь ваши души займут свои места в мировом пространстве».

Я мог полететь куда угодно и увидеть все земные дела людей: чью-нибудь семейную идиллию, деторождение, работу писателя и художника, церковный обряд, партийное собрание, а то и подготовку злодейства. Но одно – я видел при жизни, а другое – нехорошо подсматривать. Конечно, я хотел бы распознать все дурные замыслы, но сообщить о них людям мне было не под силу.

Рванулся вверх сквозь плотную тучу, растекаясь по частицам водяного пара и опять собираясь воедино. Туча кончилась. Синее небо показалось мне кристаллическим. День клонился к вечеру. Солнце откатилось на восток и там пылало, третью своей погрузившись в тучу, туча в глубине кровенела, как повязка на свежей ране. Мне стало радостно и свободно, отодвинулось горе собственной смерти, позабылось несчастье близких. Верно говорят: душа стремится к свету; впервые это, скорее всего, понял кто-то не живой, а умерший, чья душа тоже поднялась над тучей – переселившись в другого человека, она ему сообщила, что стремится к свету.

Я плыл по течению в вольном эфире. Наступила ночь. Разгорелся, раздулся янтарный шар Луны, засияли мириады звезд. Пришел следующий день, и опять наступила ночь, и занялся день. Я думал, что, может быть, встречу Бога, но не встретил, лишь узрел одинокий серебряный самолетик вдали, оставляющий за собой плавную, как лыжня, белую струю, да соприкоснулся с чужими, разных народов душами, которые летали здесь во множестве и, как я, дожидались срока переселения. Срок этот на земле известен – сороковой день после смерти плоти, только верующие привыкли считать, будто дух отлетает в Царствие Божие. Снова затосковав по близким людям, я повернул назад и через открытую форточку проник домой.

Сумерки уже были. В комнате зажгли люстру. Жена сидела на диване и перелистывала семейный альбом, разглядывала наши с ней фотографии, спустив на плечи черный креповый платок, обнажив строгую плетенку волос, которые давно и красиво расцвели пышным белым цветом. Вернулся с работы сын. Он, молодец, прежде пошел не в семью свою, а к овдовевшей матери. Сын сел с матерью рядом и тоже начал смотреть фотографии. Моя родительница занемогла и лежала в своей комнатке, где висели образа в углу и перед ними спускалась на трех медных цепочках лампада с розовым лепестком пламени. Мне захотелось утешить всех. Я приник к старушке, обволок ее, словно был облачко, по-сыновьи приласкался – она не почувствовала, скользнул по лицу жены, и Вера, тронув пальцами щеку, оглянувшись, произнесла:

– Как будто откуда-то дует.

– Наверно, в форточку, – сказал сын.

– Нет, – сказала она задумчиво. – Нет, в форточку не дуло. На улице тепло, тихо.

Он все-таки шагнул к окну, тяжело, как Командор, – эх, и могучий вырос! – прикрыл форточку, снял серый пиджачище и накинул на плечики матери. Вера запахнула борта сыновьяго пиджака, поежилась в нем.

Стала перелистывать альбом дальше и по фотографиям рассказывать сыну обо мне и о себе. Ему все, конечно, было известно о родителях, но он внимательно смотрел и слушал. Александр обнял мать, прикоснулся скулой к ее плечу. Черты его загорелого лица, сбоку обращенного к альбому, – лица тонкого, я бы даже сказал, аристократического, – заострились, ретушировались тенями и выглядели как на гравюре. Сын пощипывал ус. А может, не все он знал о нас, о покойном отце? И фотографии, может быть, раньше видел мельком, не придавая им важного значения? Что ж, это понятно, не обидно для живого. Но вот я умер – и он начал смотреть, дознаваться. Приятно мне было, трогательно. Только откуда накатывалась лютая кручина? Забирала и забирала меня тоска, сжимала, пронизывала мое поле своими силовыми линиями, и я хотел плакать, да не мог, все слезы кончились при жизни. Вдруг вспомнил: близятся новые поминки, скоро девять дней, как я умер. На девятый день, полагают верующие, душа отрешается от мира, чтобы начать готовить себя к Царствию Небесному, но тут действует естественный закон отчуждения души от прошлой жизни, придет время, его откроют философы.

Я решил остаться дома, отдохнуть около близких. Сын, правда, ушел к себе домой. Они там живут ладно, дружно, я еще к ним наведуюсь, погляжу напоследок. Жена приготовилась к ночлегу, переделалась в спальную рубашку, распустила по плечам волосы, но, сцепив руки между коленями, долго сидела на постели при свете ночника, седая, глазастая, похожая на колдунью. Проведав мать, Вера загасила ночник и легла; не спалось ей, глядела во мрак. Я парил, витал перед ее глазами и в густой темноте делался слегка виден, белел тонким стеклом, ночным туманцем и волновался плавно, как газовая ткань на сквозняке. Вера насторожилась и несколько секунд держала голову над подушкой.

– Странно, – тихо произнесла она. – Странно...

Чтобы не пугать ее больше собой, не белеть ночным призраком, я перелетел в комнату матери и успокоился до утра в углу под образами, где меня поддерживал теплый воздух, струившийся от лампы.

На «девять дней» собралась близкая родня, да чуть позже опять пришел Куркин, профессор-сопроматчик из нашего института, маленький тихий старик, с головой в плечах, давно не стриженной. Поднимали чарки за упокой души Дмитрия Малыгина, снова говорили о нем слишком хорошо, и брат Иван толковал с хрипотцой, когда другие умолкали:

– Я ему камушек поставлю. Сам изготовлю и привезу. Надпись печальную сделаю. Лежит, мол, тут Дмитрий Малыгин, ученого звания человек, бывший фронтовик, мой брательник...

Неважно он выглядел, сам раненый солдат: плечи сутулые, волосы редкие, лицо сухое, измятое, темное, будто вяленое, и красные глаза. «Болен ты, Ваня, – думал я. – Может, самому недолго до могилы? Ты уж не болей, поживи. Приказываю долго жить». Впрочем, Ивану было шестьдесят семь лет.

К концу поминок я устал видеть милых сердцу людей и свой дом – это начал действовать закон отчуждения. Меня повлекло на волю, в поднебесье; а спустя еще час я уже выталкивался наружу неодолимой силой – видно, поле души на девятые сутки заряжается тем же зарядом, что имела прошлая жизнь. Спихватился, что вот теперь улечу отсюда и больше никогда близких не увижу, стал цепляться за потолок, за шероховатости, но меня, как теплый воздух, приближало к форточке, и спасения не было. Поле мое разорвалось на несколько частей, части удлиннились, протянулись, словно тонкие руки, в судорожном прощании к сыну, внуку, жене и матери, к брату Ивану и сестре Катюше. Я еще успел заметить, как родные одновременно повернули в мою сторону головы, запомнил их удивленные глаза и вылетел в форточку.

Космос. Атласная чернь неба. Звезды – точно осколки разбитого зеркала, отражающие белое свечение, мерцание расплавленного олова. Земля далеко, но мне еще предстоит на нее вернуться. С громадной высоты я видел нашу планету целиком, и она мне напоминала елочную игрушку – голубой стеклянный фонарь, разрисованный перламутровой краской под географический глобус.

Я думал о том, зачем жил на свете сын Земли Дмитрий Малыгин, каков был смысл его появления в мире. А может, никакого смысла не имелось, и человек, наделенный мною, его душой, занимал место кого-то другого, необходимого в жизненной системе планеты – для приближения системы к совершенству? Все это важно понять отлетевшей душе, чтобы переселиться целесообразнее. Но я понять не мог, мне было не дано.

Выбрать, в кого переселиться, непросто, но еще труднее подгадать ко времени.

Я бы поостерегся быть душой сына потомственного воина. Отец, наверно, подтолкнет мальчишку к профессиональной ратной службе, а душа мальчишки начнет противиться: Дмитрий Малыгин все армейское недолюбливал, побывав на двух войнах, пролив своей крови немало, но еще больше чужой. Не решился бы я вселиться и в дитя музыкантов, и в потомка художников или писателей, и в наследника дипломатов. Мне удобнее было бы наделить собой будущего инженера-механика, ученого, но это уж как повезет. Ладно, стану готовиться к сороковому дню.

Надо только хорошо поразмыслить, не испортишь ли собой, не усложнишь ли чью-нибудь новую жизнь. Это общее правило для всех честных переселяющихся душ. Про души гадкие я не говорю, они захватывают тело по-разбойничьи, и беда тому, в ком прочно устроится личность скупца, завистника, злодея, но и душа милосердная, широкая может сделать человека горемыкой, а не счастливец. Я думал: «Не переселиться ли мне в дерево или камень, чтобы избежать ошибки, не причинить никому зла?» Люди считают эти предметы неодушевленными, но они тоже одушевлены, иначе не искрили бы и не мерцали. В деревьях и камнях заключены души людей отчаявшихся или тех, что были неуверены в себе, они там под спудом и не могут вырваться на волю.

Решил, что все же я не такая опасная бедоносная душа, что-бы навеки заточить себя в дерево или камень. В общем-то я жил счастливо.

Как раз приблизился «сороковой день». Я забеспокоился, заметался в космической вышине – это быстро усиливалось напряжение моего поля. Стал падать на Землю, излучая энергию, светясь метеором. На высоте авиалайнера полетел над Землей, высматривая свой город. Я мог отправиться в любое государство, на Берег Маклая и Берег Слоновой Кости, на полуостров Таймыр и остров Мадагаскар. Как, бывало, мечтал Дмитрий Малыгин попутешествовать по разным необыкновенным местам Земли, но отлетевшая его душа рвалась на родину, не желая переселяться в чужой стране.

Вот и родной город. Я снизился до дыма над заводской трубой, потом до крыш домов. В городе началась зима. В парках и скверах лежал рыхлый снег, с глубокими следами – мальчишки, наверно, лазали, – на улицах же его почти весь сгребли, и обнаженные асфальтовые спины тротуаров и мостовых мне было досадно видеть – не люблю, когда сгребают снег, зима – не зима...

Отыскал в тихом переулке родильный дом, влетел в него через главный вход, вместе с клубами пара, когда кто-то открыл дверь, обитую войлоком и клеенкой. В операционной стояла роженица. Поле мое лихорадило, я терял память о прошлом. Проник в операционную. Около стола хлопотали врач и медсестра, милые, очень молодые. Бледная голая женщина с большим животом корчилась на столе, кусала губы, чтобы заглушить стоны; между ее красивыми раздвинутыми ногами с натугой ширился вход в чрево, а там уже торчала влажная младенческая головка с темными волосками на темени. Мгновение – и я приблизился к головке, к еще сомкнутым крохотным красным устам, и позабыл, что было со мной раньше, прошлое мое

теперь останется в геномной памяти другого человека, и человеку будет смутно казаться, сниться, что он когда-то воевал, растил сына, строил мосты и заведовал кафедрой в институте.

Через минуту ребенок закричал пронзительно о том, что родился.

Душа Ульянова-Ленина

Я – душа, я – сущность Ульянова-Ленина, и нет мне покоя...

В межпланетном пространстве, в беспредельной пустыне космоса нас мечется довольно мало, не способных к переселению, обреченных на вечное скитание человеческих душ. Всех, конечно, не перечислишь, но тут души Нерона и Суллы, Тимура, Чингисхана и Батя, Ивана Грозного, Кромвеля, Робеспьера, Наполеона, Гитлера, Сталина, ну и прочих, вставших над людьми личностей, схожих грехами, но виноватых по-разному.

Среди душ великих грешников есть жуткие, сатанинские, неукротимые, изнывающие в сладострастии лютой злобы, но есть смятенные, угрюмые, печальные. Сатанинские ненавидят смятенных, а те сторонятся сатанинских и избегают сближения между собой. Каждая из угнетенных душ хочет скрыть от товарки по несчастью, как вся корчится в ужасных муках, извивается змеей, бьется смертельно раненой птицей от бешеных скачков напряжения своего поля.

Бог не наказывал нас. Бог милостив... Есть ли Он, впрочем, Бог – верховное Существо? Что-то я никогда не зрела прочерченного таинственным сиянием Божественного силуэта. Ах, как было бы просто, как славно: попросила душа прощения у Всевышнего, скинула с себя цепи грехов и, легкая, чистая, светлая, отлетела в Царствие Небесное! Не могу изощренно рассуждать – это предназначено для интеллекта, моя же философия чувственна, – но передаю вам, люди, вот что. На Земле я была напрочь безбожной, в космосе обрела Бога. Не поверила я, что Бог – Существо. Он – высшее озарение души, познаваемое в муках совести, в великом труде очищения. Его не хватило душе живого Ульянова-Ленина, чтобы он после смерти всегда считался пророком...

Пустота. Царство вечной ночи и лютого холода, «абсолютного нуля». Белые стуски звезд, взвешенные в космосе, как воздушные шары в атмосфере. Солнечные ветры и облака звездной пыли. Трассирующие потоки электронов и нейтрино. Мертвая тишина, но порой вдалеке – словно скрежет зубов и чьи-то безумные вопли, стоны. Кто знает, какими вселенскими катастрофами рождаются эти дьявольские звуки?

Мы, сверхгрешные души, перемещаемся во множестве пространственных координат, но не меняемся во времени. Мы цельны, как лучи света; звездная пыль и солнечный ветер иногда разрывают нас, но части тут же опять соединяются в целое. Можем мы быть и скорыми, как лучи: нынче у одного Солнца, завтра у другого. Мы не сгораем и не замерзаем, не гибнем от магнитных бурь и ядерных взрывов. Нам все равно куда лететь: к пылающим звездам, застывшим мирам или живым планетам, и только к Земле не дано сверхгрешным душам приблизиться, Земля не подпускает нас, мы давно потеряли ее из виду и не отличаем от звезд...

Я, душа Ленина, вечно странствуя по Вселенной, несу наказание за грехи, но подчиняюсь я не воле Провидения, а объективным законам переселения человеческих душ. Вы, на Земле, уже потихоньку догадываетесь, что душа – энергия личности, и она не умирает, а отлетает и на сороковой день после кончины плоти – если успеет к сроку – вселяется в других людей, в животных, птиц или даже в неживые предметы. Но вам и в голову не придет, что сущности всемирных грешников переселяться не могут, у них особые свойства поля, и Земля отбрасывает их на звездные расстояния. Да и кому нужны мрачные, преступные и страшно усталые сущности?

В каком я теперь созвездии, не ведаю. Мимо, словно пушечные ядра, проносятся метеориты. Близится гигантская спиральная туманность, медленно поворачивается она, в ее вихрях все различимее отдельные звезды, из чудовищной дали похожие на снежные катыши, малые, славно теннисные мячи, и побольше – с капустные кочаны, и вот я уже в центре спирали, в сонме крутящихся звезд. «Боже, какое зрелище!» – подумал бы человек и смертно ужаснулся

бы, и потрясенно восхитился. А мне, душе прегрешного вождя, все равно. Я привыкла. Тоскую по Земле, ищу ее, мечтаю однажды приблизиться к планете.

Знаю, что делается в родной стране, кровотоку, самоистязаясь в судорогах от собственных энергетических бурь. Все рассказывают нам души мертвецов, в ожидании срока переселения витающие меж звезд. Говорить словами мы не можем, передаем информацию через соприкосновение. Иные из моих сообитательниц по космосу кидаются на новые души, как гарпии, обвивают их и переплетают, пронизывают силовыми линиями агрессивных полей – требуют известий о Земле. И слухи разносятся по всей Вселенной.

Не очень давно прилетала из России душа одного честного упрямого маршала, невинно убиенного, Ахромеев его фамилия; рассказывала, как вешали хозяина, прямо в служебном кабинете, над письменным столом, изображали наложение на себя рук. Что-то прознал о тайных делах и секретных замыслах в верхах государства и собирался обо всем доложить народу, вот и пресекли. Сообщила душа, что громко о старике мало кто плакал, но в то время, как его казнили, у некоторых граждан состоялся праздник, хотя к повешению он имел косвенное отношение. Что праздновали, мне известно, но непонятно, чему радовались. Люди, зачем вы так пели и плясали? Чего добиваетесь? Ну, станете третьеразрядной капстраной. А то и не станете. Удастся вам, пожалуй, как схлынут восторги, сорганизоваться лишь в толпу присмирелых обывателей, а помыкать вами начнут бандиты и лавочники...

Летали и другие души. Много чего порассказывали о моей стране. Люди, вы прозреваете и, умирая, все больше несете в космос гнева и разочарований. А вы что думали? Что как споете и спляшете, придет райское благо? Кого славили и возвышали над собой? Чьи каблуки ставили себе на голову? Вглядитесь: короли-то... Ах, если б голые были короли, а то всегда лучше подданных одетые!.. Умы средние, амбиции большие. У иных физиономии пухнут от пагубных страстей. Если надо, они – потомки революционеров, апостолы коммунизма, а потом наоборот. Вы же всю жизнь – быдло и для того лишь служите, чтобы держать вас в черном теле и просить еще потерпеть. Тот, кого я населяла, мечтал всех сделать равно счастливыми, зависящими в успехе, благополучии от ума да воли, а не от всесильного окружения и денежного мешка. Не получилось. Наломано много дров, за это душа не знает покоя и разрывается от вечной боли. Про грехи Ульянова-Ленина разговор особый, долгий и недобрый, только не сатанинским устам его вести, а праведным.

Праведные истинно рассудят моего хозяина еще через пятьдесят лет, пока же читают хартии и смотрят, за что клеймить, за что прощать. Сатанинские дуют о нем в поганые трубы, нацелив их на тридцать сторон, из труб выдуваются фекалии и обрызгивают, заляпывают подставленные уши. Короли, хорошо одетые, взяли в трубохвосты лучших своих холуев и велят им дуть шибче, денно и ночью. Торопятся. Надо поспеть заляпать уши нового поколения, чтобы в них не проникли честные судные звуки об Ульянове-Ленине, чтобы поколение это страшно, как мерзкого гада, кляло покойника перед своими детьми, а дети несли бы хулу дальше, по воле правящего дома искореняя в народных генах сочувствие обожествленному вождю. Но кто обожествлял? А те же, кто нынче скомандовал дуть о нем в поганые трубы.

Глупцы-короли! Как бы ваши трубохвосты ни надрывались, они не совершат больше того, что совершится без их помощи! Злу суждено быть проклятым в веках, а добру – сбегать, зернами рассеяться по земле и прорасти. Не сделать Ульянова-Ленина грешнее, чем он был, не растравить его душу безжалостнее, чем она растравлена. Не минет вас суровая кара за вероломство, притворство и колдовскую смену обличья, не избежать вашим сущностям бесцельных скитаний в космосе. Места здесь хватит; а души-гарпии скучают без разбоя и жаждут помучить энергетические поля новопредставленных нечестивцев. Но, может, ваши темные души на сойдутся в битве с душами Гитлера и Муссолини, а нежно их коснутся, вильнут умильно незримо шлейфами и тоже станут гарпиями? Я этому не удивлюсь.

Хочу объясниться с народом, пусть услышит трагическую душу. Многогрешный политик Ленин заглядывал далеко, пробовал быть смелее других, мечтал вознести Отечество на неслыханную высоту. Плохо достигают сердца казенные слова, но без них не обойтись: сермяжный феодализм, бостоновый капитализм... а дальше что? Или вы, люди, думаете, что дальше – ничего? Тогда зачем всю жизнь твердили диалектику? Вам велели, а вы боялись послушаться? Как, однако, просто и как неискренне!.. Не потому ли ваши господа поощряют оккультные науки, что боятся, как бы вы не продолжили верить в «общественное развитие»?

Тот, кому я принадлежала, впрягся в исполинский воз и, задыхаясь, тянул страну в гору, к высшему пьедесталу. Вы дали предводителям лавочников спустить ее вниз, пьедестал же сами взорвали под гогот толпы. Но могут начать командовать и такие предводители, что за главное народное благо сочтут уже не торговлю в лавке, а феодальный, рабовладельческий или даже первобытнообщинный способ добывания еды и одежды. Каких только нет сумасшедших! Вы и у них пойдете на поводу?

Мерзавцы-оборотни исподлили замыслы моего хозяина и в исподленном виде употребили себе на пользу. Вам бы прогнать мерзавцев взашей, а вы им позволили обернуться своими заступниками, возглавить движение лавочников, да еще сказали спасибо, что обернулись и возглавили. Тут вот такая закавыка. Если и построите капитализмишко, то потом все равно сделаете революцию. Только придется начинать сызнова: с подпольных кружков. У народа российского жажда справедливости и достоинства тысячу лет сидит в генах и станет объединять его против наглеющих предводителей и хапающих деньги холуев. Капитализм, скажу я вам, даже нехилый, лишь кажется благополучным, он – тухлое яйцо, сверху белое, гладкое, крепкое, внутри поганое. Вот и довольны там, как нынче у вас говорят, «за бугром», что родная страна Ульянова-Ленина не достигла вершины и не встала на пьедестал, а уравнивается с остальными: когда все одинаковые, тухнуть дальше не так опасно...

Конечно, наедитесь, напитаетесь – хозяевам нужны сытые работники; но у многих души сделаются мохнатыми, и большинство полюбит читать одну поваренную книгу. Ульянов-Ленин хотел, чтобы души у всех стали благородными, и каждый гражданин не только бы работал и насыщался едой, но легко творил прекрасное. За то, что намерения высокие породили беды лихие, несчастная душа будет вечно страдать и каяться. И хотя больше виноват интеллект, она молит великий народ о жалости к ней, о смягчении приговора.

Убита Россия безмерным горем, смочена ее земля кровью, обильно, как проливным дождем, и за горе, кровь нет Ульянову-Ленину снисхождения. Но если об этом трубят сатанинские уста, мне хочется крикнуть на весь космос: «Эй, горнисты! Припрячьте свои поганые горны и извлеките, когда понадобится дуть в них о ваших королях! Посчитайте, сколько прольется крови на пути страны под гору, сколько загубится судеб, случится самоубийств, разрушится жилищ, останется сирот и бездомных, сопоставьте новые беды с прежними и изо всех сил об этом протрубите! Тогда, может быть, люди глянут на грехи покойного Ульянова-Ленина по-другому!»

Насели на него бандиты-соперники, смущали, подсказывали, валили на крепкие плечи хитро написанные коварные планы и из-за плеч этих подмигивали друг другу, ухмылялись. Но разве, ища поддержки, не видел, кто его окружает, не знал цену Яшке Свердлову или Троцкому Левке? Один сер, как штаны второго, второй подл, как Иуда, и истеричен, словно барынька на сносях. Троцкого душонка где-то здесь витает, сдружилась с сущностью Геббельса; а Яшкина, не успев переселиться в бревно, застряла в пыли кольца Сатурна, не может оттуда выбраться...

Лечу, вытянувшись в линию; от воздействия материальных частиц и магнитных полей мелко змеится, вибрирует мое поле, пляшет его энергетический потенциал. Обгоняю длинный, с перламутровым сиянием хвост и саму комету, огненную внутри, а снаружи темную, лохматую, как нестриженная и нечесанная голова. Мировая тоска. Космическое одиночество. Хоть бы близкая душа рядом! Хоть бы перекинуться с ней словом! Где вы, души Крупской и

Арманд? Нет вас. Давным-давно переселились и побуждаете чей-то немолодой уже ум и чью-то дряблую плоть из последней мочи напрягаться в сферах политики и народного просвещения. А может, успели переселиться дважды? Ах, душа Нади Крупской! Ах, душа Арманд, незабвенной Иннесы!..

Мне, душе Ульянова-Ленина, становится хуже и хуже. На лету ломаюсь, перекручиваюсь винтом, во всю длину рвусь на мелкие части, тонкие, как волокна. Я тяжело больна, не в силах остановиться или хотя бы замедлить полет, и лихорадочно стремлюсь неизвестно куда, безвозвратно удаляясь от отчей планеты. Люди, я хочу вернуться в Солнечную систему, приблизиться к Земле. Остановите меня. Закупорьте поганые трубы, чтобы страшная хула не взвинчивала больше напряжение моего поля и не наращивала скорость полета души в космосе. А может, есть Он, Бог – Высшее Существо? Тогда, Христа ради, помолитесь Ему за грешную душу. Граждане России, праведный Боже, помилосердствуйте! Помилосерд...

Душа самоубийцы

Космос, холод, беспредельность, безысходность...

Не дано мне, душе самоубийцы, переселиться ни в человека, ни в животное, ни в камень или дерево, называемые на Земле неодушевленными предметами, по наивности, конечно, называемые так, по глубокому людскому недомыслию, которое странствующим душам заметно с высоты космических познаний.

Слишком велик отрицательный заряд моего энергетического поля, наведенного неестественным делом самоумерщвления: я от всего отталкиваюсь, особенно сильно – от материи живой, и даже не способна приблизиться к высокоразвитым животным. Души мелких раскаявшихся грешников создают вокруг себя почти обычные поля и легко переселяются, а я, сущность человека, повинного в несчастье самоубийства, так искорежена непростительным грехом, что мой удел вечно скитаться по Вселенной. Хотя с Землей я все-таки связана тонкой ниточкой – злобой, которая разгоняет меня до предельных скоростей, не известных земным ученым, и пока я не улечу в соседнюю галактику и не потеряю направления на родную планету, я могу рвануться к Земле и достичь ее, но это опасно...

Лечу со скоростью света, вздрагивая, меняя свой потенциал от соприкосновения со звездной пылью, делюсь на части и вновь образую единое целое, как пронизавший решетку солнечный луч. Все странствующие души знают неопишимо-жуткую красоту мироздания. В одном из бесконечных его направлений – беспросветный мрак, в другом – сияют во мраке белые, желтые, красные, зеленые, синие звезды, в третьем, словно бенгальские свечи, сыплют холодные искры какие-то мелкие источники свечения; тут взвешены в пространстве разнокалиберные полусовершенные шары планет, волчками крутящиеся вокруг собственной оси и одновременно, словно карусельные лошадки, бегущие по кругу (ученые на Земле говорят, что это не круги, не окружности, значит, а эллипсы), там завиваются перламутровые спиральные туманности и тянутся Млечные пути, похожие на заснеженные горные цепи; вдруг часть пространства охватила яркая вспышка, колеблются гигантские языки пламени, змеистыми тенями оплетаются планеты, «дышит», вздувается, как живая плоть, адское вещество плазмы, снежно-белое от чудовищного накала; метеоры, магнитные бури, трассирующие заряженные частицы, «черные дыры», засасывающие материальные предметы в антимир; то жар преисподней, то лютый холод вокруг... и среди всех грозных сил космоса, безвредных, впрочем, для странствующей души, мечусь я, грешная человеческая сущность, не нужная ни людям, ни Богу, не отпетая в церкви, не оплаканная родственными душами...

Человеку, в котором я была заключена, всегда не хватало времени. Он писал картины маслом и акварелью и жаловался сам себе на то, что с трудом находит время для своей главной картины под названием «История человечества». Всё побочные дела ему мешали: то дома есть нечего, и нужно добывать средства постылой разрисовкой витрин и вывесок, то тянут на какие-то собрания, то болеет жена, и некому, кроме мужа, ходить за ней. Художника звали Сидор Сидоров, его имя занесено в энциклопедию современных русских художников. Этот Сидор в квадрате, как шутейно прозвали его друзья, некогда известный среди живописцев и любителей живописи, однажды сник, захирел и перестал о себе напоминать. Его забыли, но он жил и противостоял обстоятельствам, иногда воодушевлялся, но больше отчаивался и, понапрасну себя растрачивая, думал о самоубийстве...

Но – все по порядку. Здесь, меж звездами, сколько угодно свободного времени, и странствующая душа может обстоятельно порассуждать своим чувственным способом о том, каким образом человек, крепко любящий жизнь, вдруг доходит до крайности: берет охотничье ружье, заряжает его пулей и выстреливает себе в грудь, скинув ботинок, нажав на спусковой крючок большим пальцем ноги. Сидоров имел привычку вести дневник, который показывал только

жене; но я-то знаю, что он там писал, все пропуская через меня, свою бессмертную составляющую, я – главный Сидоров, а брэнная его плоть вкупе с разумом есть Сидоров второстепенный, моя оболочка. Сперва, пока был молод и обучался в училище живописи, Сидоров заносил в дневник разные любопытные происшествия и довольно поверхностные суждения о жизни и искусстве. Делал он это легко, беззаботно, с иронией и юмором, но с годами его записи становились глубже, философичнее, ведь он был до мозга костей художником и вглядывался в человеческую природу, в текущую историю страны, и ум его суровел, а я, душа, печалилась и начинала разрываться от боли. Сидоров безудержно стремился вперед, разгоняясь в любимом деле, как скаковая лошадь в чемпионском заезде, и однажды с налета врезался в неодолимое препятствие, неизвестно откуда взявшееся на его пути, а когда после ушиба и беспамятства вновь пришел в сознание, то увидел себя не в той стране, где родился и жил, а в чужой и враждебной, с особыми правилами существования и творчества. В куцей от раздробленности и жалкой новой стране шло полным ходом всегосударственное искоренение народа и освобождение выживающей его части от целомудрия и стыда, от доброты, порядочности, верности слову, любви к ближнему, почтения к старикам, коротко говоря, от совести. Непременным же условием счастливой жизни в ней было обретение людьми бессовестности, блудливости, жадности, себялюбия, зависти, ненависти и коварства, способности изменить Отечеству и другу.

Тлетворные веяния назывались общественными реформами, об этом неустанно твердили газеты и на все лады вещали картавыми голосами радио и телевидение. Сидоров привык считать искусство созидательным отражением жизни, а в новой стране отражение выходило разрушительным, и он не мог с этим смириться. Можно было и не отражать жизнь, а ужом извиваться в угоду ее новым, жирным хозяевам (один из самодурствующих богатеев так и сказал художнику: «Угоди мне. Вот нарисуй женский и мужской половые органы на фоне солнечного заката, я их на стену себе повешу, а тебя озолочу и прославлю»), но Сидоров на умел и не желал извиваться, хотя нуждался в деньгах и славе. Оставалось бросить живопись и зарабатывать, как многие бедолаги, «бизнесом», к примеру, скупкой и перепродажей семечек, на что он совсем не был способен. И снова пошел художник расписывать торговые витрины и вывески, благо, в новой стране их требовалось великое множество, не то что театральные афиш и книжных плакатов. Тогда-то он и отметил в своем дневнике: «Мать честная, а ведь я никто! Все, что всю жизнь делал, никому оказалось не нужно. Из художника превратился в мазилу, а мастерством, каким владею, не могу заработать даже на нищенское существование! Не вижу выхода!..» И эта запись была первым широким шагом Сидорова к самоубийству.

Я помню то чувство безысходности и мое ужасное содрогание – оно сказалось на свойствах энергетического поля ныне летящей меж звездами отверженной души, для которой нет более страшной кары, чем не быть переселенной, но вечно странствовать, без цели и отдыха. Как опостылел мне космос с его бесконечностью времени и пространства, с катаклизмами, неопируемыми картинками мироздания, многообразием систем координат, бешеными скоростями движущихся частиц и тел, мраком, холодом и жаром! Как хочется без злобы приблизиться к людям, умилиться над земной благодатью, а потом счастливо войти в теплое тельце новорожденного и наделить младенца духовностью и художественным даром!.. Но вернусь к своим чувственным размышлениям о пути к пропасти. Я навечно обременена тяжестью греха и не перестану отчитываться сама перед собой, сожалея о случившемся.

Между прочим, покойный был не из тех слабаков-хлюпиков, что при всяком личном неблагополучии стонут, жалуются и с горя хлещут вино. Это был мужчина и по духу, и по внешности. Второстепенная его составляющая, моя оболочка, очень нравилась женщинам, они любят мужчин рослых, мускулистых, загорелых, белозубых, улыбчивых и с копной волос на голове. Бог наделил Сидорова добрым здоровьем, закваска у него была хорошая: деревенское детство, с малых лет труд на свежем воздухе и до безумия смелые ребячьи забавы. Сидоров рассказывал жене и сыну, как, бывало, нырял под плот, плывущий за буксиром по Оке, и выны-

ривал по другую сторону плота. А однажды зимой, разогнавшись на лыжах по склону глубокого оврага, он решил сигануть с высоченного уступа, но старые, плохо загнутые лыжи воткнулись в снег, и мальчишка полетел через уступ вниз головой. Внизу, поверх снега, блестел ледок: там бил ключик, и многие жители деревни ходили к нему по воду. Бог спас Сидорова. Успел он послужить в армии, причем матросом на Черноморском флоте, а потом уж обучился живописи, и вот этот крепкий, закаленный жизнью орешек однажды дрогнул и наложил на себя руки; и во всем была виновата я, его душа, в минуту отчаяния проявившая слабость...

Нельзя сказать, что в прежней стране, не оскверненной еще содомом обманных перемен, Сидорову жилось сладко. История у страны была сложная, запутанная, в ней после ярких революционеров много лет правили государи средней руки, с годами тупевшие и раздувавшиеся от величия, они установили свой жесткий режим в политике и искусстве, который по мановению властного взгляда или жеста, но часто без мановения – а по потребности души – неукоснительно поддерживали холуи. Иногда холуи вскидывались на художника, чтобы припугнуть его и приучить к марксистской точке зрения, а то и объясняли художнику, что он должен изобразить на холсте. Но во дворце при правителях держались и достойные, хитромудрые люди, способные и угодить власти, и усыпить ее бдительность. Они защищали Сидорова от нападков, помогали ему выставлять картины, и, хоть порой с большими огорчениями, живописец творил, развивался, и всякая его картина, прошедшая лабиринты цензуры и увиденная любителями живописи, приносила Сидорову известность да и заработок немалый.

Как ждал он благоприятного времени! Как хотел, чтобы от державной власти отошли серые люди и на их место явились гении! Как радовался налетевшему на страну вихрю событий, надеясь, что он сметет пыль, мусор и рассеет туман! И как разочаровался потом, и какой потерпел оглушительный удар, осознав, что вихрь наслали бесы, чтобы отвлечь внимание народа, зачаровать его фальшивыми прелестями жизни и под шумок с ногами взобраться народу на шею!

Приглядевшись же к бесам внимательнее, Сидоров испытал новый страшный удар. «Ба! – подумал он, от волнения шевеля ноздрями. – Да ведь эти бесы давили, унижали меня и подводили мою творческую манеру под статью о государственном преступлении! Вон тот, мелкорослый и ушастый, большой любимец телевидения, которое часто показывает его на богослужении в церкви, он доносил в кэбэ, что я иногда пишу картины на библейские сюжеты! А другой, шумно толкующий про свободу творчества, бывало, грозно сверкнув очами, призывал меня творить по правилам соцреализма, не то буду изгнан из Отечества или сяду в тюрьму! Третий, главный проповедник частной собственности и крупной наживы, не так еще давно выступал гневным обличителем «темных сил капитала» и поборником скромного коммунистического образа жизни, за что и получил какие-то медальки, почетные звания, чины и милости! Старые подлецы стали новыми, и ни один не наказан! Господи, что же это творится?! Как такое может быть, и почему ты, Господи, терпишь бесовщину?» Потрясение было столь сильным, что бедный Сидоров надолго утратил охоту и способность творить. А, надо сказать, он мог писать картины будучи и голоден, и холоден, и болен, и утомлен, не гибли его никакие трудности быта, ненадолго огорчала и наглая печатная критика. Когда же художник немного успокоился и вновь принялся за дело, то из-под его кисти не вышло ничего путного – только мерзкие рожи, со свиными пяточками и птичьими клювами, с свиными глазищами, кабаньими клыками и козлиными рожками. Что бы Сидоров ни пробовал теперь писать, он вдруг забывался и выводил очередную рожу, мерзее прежней. Нарисовав почти сто рож, свирепых, ехидных, постных и плотоядных, и кривооскаленных, и хохочущих, и изрыгающих хулу, и плюющихся, и жрущих, и пьющих, Сидоров почувствовал, что сходит с ума. Он поскорее закрыл мастерскую на замок, а ключ бросил с моста в реку...

Еще оттого он в последнее время печалился, что любимая жена сильно болела. Хорошая была женщина, красивая и светлая. Жены людей творческих нередко глупы и сварливы, а

Сидорову досталась, как награда за честную работу, истинная подруга жизни. И покой художника она оберегала, и с картинами мужа выходила прямо на оживленную улицу: поставит картины на подставки или на землю, прислонив к стене дома, сама сядет на стул и торгует, а человек, заметьте, тонкий, образованный и стыдливый, по характеру не торговка. И вот эта святая женщина с годами все сильнее мучилась каким-то недугом сердца, конечно, пережитые трудности ее довели, борьба за существование; внучку она еще с пеленок воспитывала: сын Сидоровых разошелся с женой, и молодые завели себе новые семьи, а девчушка оказалась никому не нужна. Когда художник стал писать рожи, Сидорова и их пошла продавать. Он рисовал и выбрасывал, а она за ним подбирала и продавала, сперва на одном месте, потом в электричках и автобусах, и до того доходилась, что слегла.

«Зачем ты носила эту дрянь? – сказал Сидоров. – Больше не смей!» «А как жить? – ответила она, кротко глядя на мужа с постели, под подбородок прикрытая одеялом. – Денег нет, а рисунки пошли нарасхват (жена не сказала Сидорову, что покупатели покатывались со смеху, глядя на сотворенные им невообразимые хари, которые они принимали за карикатуры на всем известных правителей). Ты, милый, наверно, забыл, по скольку нам лет и что мы оба заслужили пенсию, а ее не дают уже полгода, такие настали времена... Твоих заработков не хватает. Да и не надо бы тебе расписывать вывески, молодежь шустрее машет кистью, видишь, лавочники зовут ее, а не тебя. Ты художник и вкладываешь в вывески душу, а там она не требуется... Зачем пропадать отличным сатирическим рисункам? Возможно, они сродни офортам Гойи и многое скажут о нас будущим поколениям. Я продавала и говорила: «Покупайте рисунки художника Сидорова. Когда-нибудь станете гордиться тем, что они есть в вашей коллекции». «Нет, – проворчал Сидоров, – не нужно. Посмотри на себя в зеркало: бледная, как наволочка, а глаза провалились до самого затылка. Не хочу тебя потерять. Что я без тебя буду делать?»

В тот же день в его дневнике появилась новая запись, подвинувшая Сидорова еще на один широкий шаг к самоубийству, а его бессмертную душу к скитаниям в космическом пространстве: «Все порушено, все отнято. Были кое-какие деньги на сберкнижке, и их отобрали. В квартире не топлено, жена болеет, внучка хочет мяса и фруктов, а я не могу купить. Но главное, произошло что-то такое, отчего я больше не верю в будущее, не могу сопротивляться и жить не желаю. Проклинаю себя за это. Злоба душит меня, жжет, сверлит, разрывает на части. Я весь состою из злобы, ненавижу тех, кто разворотил мою страну политическим взрывом, заложив в укромных местах страшные заряды под видом того, что это опоры общественных перемен, кто обездолил, унизил мою семью, а меня, честного художника, искавшего в природе свет и доброту, довел до лютой злобы...»

Я вот тут, его душа, летаю, а злоба опять корежит мое поле. (Ах, не надо бы мне предаваться чувственным воспоминаниям, успокоиться бы, но чувственные воспоминания заложены в меня!) Злоба – часть души, как доброта, стойкость и слабость духа, и только я создала Сидорову минуту отчаяния, победив его разум, не такой сильный у всякого художника, как чувства. Странно, что, наделенная могучей силой отталкивания, я сохраняю тонкую связь с Землей – через злобу, и, коль решу, могу влететь в земную атмосферу, как большая комета, встреча с которой – беда для Земли. Но неизвестно, чего больше в отлетевшей душе самоубийцы: злобы или раскаяния...

О внучке Сидорова я недавно вспоминала, о прекрасной девочке, брошенной родителями. Родители ее мне, конечно, не интересны, пусть один из них и близкий родственник Сидорову, они, эти родители, люди довольно тусклые, из тех мам и пап, что недостойны своих детей. Впрочем, хотя Сидоров сказал им однажды: «Подлецы!», – в сути их поведения не негодяйство, а человеческая слабость с глупостью: молодые не понимают, что семейное счастье – это вырастить ребенка, а не провести время в брачной постели и насладиться жизненными утехами.

Девчушка вся светила, как солнышко. Каждая русая русская девочка словно отражает свет солнца, утреннего, ясного и неяркого. Дед с бабкой не могли нарадоваться на внучку, осо-

бенно дед, заметивший в ней большие способности к рисованию, и, если бы родители девочки неожиданно спохватились и отняли у них свое дитя, старики очень бы опечалились. Она и теперь существует, эта девочка, ей двенадцать лет, живет в детском доме. Когда к ней подходят старшие, ребенок сжимается, трепещет и смотрит, как загнанная в угол затравленная собачонка.

Дело было зимой, в темное время, под звездами. Однажды маленькая Сидорова возвращалась из школы по накатанной дорожке и с разбегу скользила на резиновых подошвах, как на коньках, помахивая портфелем и тихонько напевая. Почему-то задержавшись в школе, она шла одна. Нередко ее встречал дед, но сегодня не встретил. В безлюдной месте внучку художника обступила шайка мальчиков-подонков, молодая поросль «реформ». Гнусно посмеиваясь и угрожая малышке финским ножом с выскакивающим лезвием, шайка загнала ее в подвал высотного дома, а там растянула на грязном топчане у горячих труб и изнасиловала...

В кабинете художника на стене висело двуствольное ружье. Когда-то близкий приятель Сидорова соблазнил его вступить в охотничье общество; но охотился живописец всего два раза, вид крови отвратил впечатлительного мужика от охоты, подернутые пленкой глаза умирающего лося и содрогание его конечностей, в агонии задранных вверх, долго снились ему и виделись в воображении. Ружье навсегда было повешено на стену, поверх ковра, а как наступили обманные реформы, и распоясалось бандитье, и пошли «домушники» днем и ночью безнаказанно грабить квартиры, Сидоров оба ствола двустволки зарядил жаканом. «Если сунутся, – сказал он жене, – сразу буду бить наповал, без промаха».

Вот это ружье художник сорвал со стены, и, пока его растерзанная внучка билась в истерике на руках бабушки, он, несмотря на мороз, в одной рубашке и простоволосый носился с двустволкой по улице и орал: «Сволочи! Сволочи!» Попадись ему тогда на пути компания мальчишек, Сидоров сгоряча подстрелил бы пару человек. К счастью, никто не попался. Одна компания пряталась в темном подъезде и оттуда настороженно смотрела, но художник ее не заметил. Набегавшись, он заплакал и выстрелил вверх сразу из двух стволов...

Девочка лежала в больнице. Врачи лечили ей тело, но душу они вылечить не могли. Жена Сидорова не выходила из дома, не снимала спальной рубашки и, повредившись в уме, кругами двигалась по комнате, на ходу разводя руками и вскрикивая: «Где она? Нету! Нету!», – а потом без сил валилась на кровать. Художник надолго уединялся в кабинете. Он купил себе водки и, хотя пьянствовать не привык, выпил залпом два стакана без закуски, и бутылка с остатками спиртного осталась на его письменном столе возле раскрытого дневника с последней записью на странице: «Будьте прокляты!» Сидоров отключил телефон и радио, он хотел тишины и сосредоточенности на своей тоске и злобе, а в кабинет откуда-то ужом ползла слюнявая песенка:

*Сладкая! Сладкая!
Ты растерянной не стой!
Сладкая! Сладкая!
До утра побудь со мной!..*

Ружье висело перед глазами Сидорова. Его ствол удлинился и, изгибаясь, потянулся к груди художника; наваждение было сильным, и живописец отпихнул ствол обеими руками, но ощутил лишь воздух и едва не упал со стула. Рисованные им скотские рожи, запечатленные многократно на холсте и бумаге, стали тесниться в разных местах кабинета и оскаливаться, и подмигивать, и ухмыляться. Одна чугунная рожа, полуприкрыв глаза, произнесла бесцветным чиновным голосом: «Ищем следы преступников». Другая пропищала, выпустив пару кльков себе под свинячий нос: «Врет, сволочь». Третья добавила, как смерть – гнусавой скороговоркой: «Снизилась раскрываемость преступлений». Четвертая дунула в помятую трубу, выгово-

рившую со злорадством: «Кризис государственной власти! Падение производства и превращение смертности над рождаемостью!» Пятая по-армейски взяла под козырек и гаркнула, надув щеки и выпучив глаза: «Тот свет в конце тоннеля!» А шестая объявила, что она Киркоров, и проблеяла: «Ты моя банька – я твой тазик!» И пошли все разом бляеть, мяукать, мычать и хрюкать, шипеть, хрипеть и пищать, гоготать и плакать. А потом разыгрались, разбузились и опрокинули кабинет, так что пол оказался наверху, а потолок внизу, и Сидоров, качаясь, как на волнах, полез с потолка на стену за ружьем.

Он скрипел зубами, бормотал: «Сволочи! Сволочи!» – и тянулся к ружью. Ему хотелось пальнуть по рожам, но когда он взял двустволку в руки, то медленно и раздумчиво направил ее прикладом вперед, а дулом себе в грудь, в то место, где припекало, словно каленым железом, оттого, что саднила я, душа. «Скорее сделать это – и боль перестанет», – подумал художник и поцеловал холодный ствол, но не поторопился выстрелить, сообразив, что спусковой крючок ему руками не нажать. Сидя на стуле, он скинул шлепанец и стянул носок, приспособил на крючке палец ноги и, зажмурившись, дернул ногой. Но лишь грохнул выстрел, и жакан разворотил Сидорову грудь и спину, лишь в страшных ранах кипятком заклокотала кровь, как повалившийся на пол самоубийца ужаснулся и уцепился за жизнь. «Зачем?! Зачем?! – крикнул он. – Господи, что я натворил?! Как они будут без меня?!» Собственный крик ему только почудился. Из рта вместе с кровью вырвалось хрипение. Пуля попала в сердце, и Сидоров тут же умер, а я, его душа, отлетела под потолок и сверху увидела бездыханное тело...

Лечу меж звездами, как между огнями большого города, разжигаю в себе глубинную память и исхожу ненавистью. Наказать обидчиков все сильнее жаждет мрачная человеческая сущность, которая, лишившись плотской оболочки, не утратила горячих чувств. Главным властителям хочу отомстить за поругание Отчизны, уничтожение народа и крушение личной судьбы художника Сидорова, чиновникам помельче – за холуйство, воровство и сытое равнодушие к простым людям. Политикам-краснобаям желаю воздать за болтовню (знали бы трибунные пустомели, сколько праздных слов и скудных мыслишек, отпущенных ими, засоряют космос!), газетным писакам и теле, – радиоговорунам – за продажность, ложь и всемерное распространение злобы, а придворным артистам и артисточкам – за бесконечную пошлость, животное бесстыдство и воспитание бесстыдством и пошлостью отпетых развратников, насильников и убийц. (Мыслишки щелкоперов и говорунов, песни и шуточки эстрадных придурков тоже копяты в межзвездном пространстве, и время от времени этот космический мусор выпадает на Землю в виде ядовитой грязи.) А со всеми вместе своими врагами мечтаю расправиться за нелюбовь их к родной земле и изменническую подлость, равной которой еще не существовало на планете.

Будьте прокляты!

Ярость все сильнее напрягает мое поле и быстро наращивает скорость перемещения души в пространстве. Знай Эйнштейн о существовании в космосе сверхсветовых скоростей, он бы отказался от своей теории относительности и сел бы переписывать ее заново. При этой чудовищной скорости я начинаю ослепительно сиять и проявляться в виде силуэта художника Сидорова. Удивительное явление: вижу сама себя – я сияющий контур оболочки, в которой прежде была заключена. Движусь в пределах нашей Галактики. Интуиция страждущей души ведет меня, словно авторулевой, и я устремляюсь к Земле, одолевая под напором ярости силу отталкивания, как артиллерийский снаряд одолевает сопротивление воздуха. Отталкивание усиливается, у него энергия мощной сжимающейся пружины (значит, я, точно, приближаюсь к родной планете, а не пролетаю мимо!), но разъяренную душу не остановить, я сильна жаждой мести.

А вот и Земля! Меж звездных вкраплений, в хороводе планет вижу розовый шар, кажущийся прозрачным. Шар все ближе, он быстро растет и превращается в земной глобус, известно, что у живущей вне тела души особая зоркость. Душа умеет смотреть невообразимо

далеко, сразу по всем сторонам и по своим законам перспективы, и с огромного расстояния я различаю многоцветье Земли, а потом и ее четкую физическую карту: материки и моря, горы и пустыни, реки и леса. Мне нужна моя Родина. Я собираюсь мстить не ей, а главным обидчикам, засевшим в Московском Кремле. Спешно вглядываюсь в Землю, ищу Россию, Москву. Скоро войду в земную атмосферу, она немного притормозит меня, но при запредельной скорости движения я тут же достигну планеты. И вот я уже сравнительно близко от ионосферы, всего-то на расстоянии миллиона километров, чуть дальше двойного расстояния от Земли до Луны. Вижу Москву, Красную площадь, Кремль, но... вдруг колеблюсь и в доли секунды меняю направленность полета. Злоба иссякает. Мне страшно. Я боюсь погубить ни в чем не повинных людей... И древние соборы Кремля не имеют отношения к судьбе художника и к моей жажде мести. Однажды я подтолкнула человека к самоубийству, мне не хватило мгновения, чтобы опомниться, подавить в себе отчаяние и спасти Сидорова, но теперь я уберегу его душу от новой непоправимой ошибки, и если не дано грешной душе переселиться, то пусть она иначе принесет пользу.

Немного изменив угол падения, чувствую радость самопожертвования и врезаюсь в среднеазиатскую безводную пустыню...

В пустыне видели средь бела дня необыкновенную, жуткую молнию. С нарастающим гулом она прилетела с ясного неба и, как бомба, ударила в раскаленный песок, эхо оглушительного взрыва разнеслось далеко вокруг. Погонщики верблюдов, наблюдавшие это диво, со страху попадали, а когда снова пришли в себя, то замерли от суеверного изумления: в центре огромной воронки, выбитой молнией, в вечно засушливом смертоносном краю из глубокого подземного источника хлестал водяной фонтан, взлетая на большую высоту, поливая песок на большом пространстве, отсвечивая яркой радугой.

Душа ребенка

Мама! Мама! Мне страшно! Где ты, моя дорогая мамочка? Куда я лечу меж звездами? Зачем ты отпустила душу своего ребенка в космический полет? Как хорошо нам было с тобой вдвоем! Какие у тебя добрые глаза и ласковые руки! Я помню прикосновение твоих рук к носившему меня в себе маленькому телу, когда утром, будя сынишку в школу, ты слегка щеко-тала ему бока! Он ежился, смеялся и хрюкал, подражая поросеночку, и его нежная розовая кожа покрывалась мурашками – такое ей было «приятство» (ты говорила это смешное слово, я помню)!..

Перед тем, как я, ребячья душа, покинула занемогшее тельце, я изо всех сил старалась удержаться в нем, но тельце было очень слабым и не помогало мне. Сперва ребенок страшно мерз, потом мучился от невыносимого жара. «Ой! Ой! – вскрикивал он с закрытыми глазами, извиваясь, разметываясь и часто, хрипло дыша. – Не надо меня мыть! Сделайте воду холоднее! Прогоните злого старика!»

Мама каялась Богу в каких-то грехах, вдесятеро ею преувеличенных, и просила его спасти невинное дитя. Она не была истинно верующей, но в детстве крестилась. Бог жил в ней, и она вспоминала о нем в трудную минуту. Мама обращалась даже к лютой болезни, терзавшей сына: «Перестань, перестань его терзать! Если тебе надо кого-то убить, убей меня!»

Перед смертью ребенок затих и приподнял голову, всматриваясь в толпу, молча двигавшуюся по каменистой дороге. Толпа несла красные маки и черные флаги. Маки расцвели в дивном саду, а флаги перекрасились из алых, прежде развевавшихся над домами и праздничными колоннами. Толпа шла все быстрее, потом побежала и вдруг понеслась по воздуху, рассеиваясь, как подхваченная ветром палая листва. Флаги кружили вороньем, а маки разлетались брызгами крови. Мальчик взмахнул крыльями и полетел вслед за толпой, видя себя самого, вдалеке превращающегося в точку. В яви же он уронил голову на подушку, вздохнул глубоко, облегченно и, потянувшись и немного выгнувшись, замер со строгим выражением исхудавшего личика. Медсестра кинулась делать ему укол, но остановилась, посмотрев на врачей. «Вася! Васенька! Уснул, что ли? – заговорила мать, низко склоняясь над сынишкой, трогая его за плечо. – Открой глазки! Посмотри на меня! Это я, твоя мама! Меня к тебе пустили! Я с тобой!» Но душа уже оставила маленькое тело. Отлетев под потолок, я сверху наблюдала за происходящим. «Жаль, – шепнул врач-мужчина женщине-врачу. – Воспаление запущено, а организм ослаблен». «Доводят болезнь до отека легких, а потом жалуются на нас», – ответила женщина-врач, достала платок и вытерла слезы. «Не в этом дело, – опять сказал мужчина. – Просто жизнь такая». Я-то, душа, ясно разобрала их перешептывание...

Девять дней мама плакала, а я порывалась вернуться в тельце, но его поле, заряженное одинаково с полем витающей над ним души, отбрасывало меня назад. На девятый день пришли мамина подруга и соседская бабушка. Втроем они и пожалели меня, горемыку, и выпили немножко за упокой детской души. Едва успели они пожелать мне Царствия Небесного, как проявился закон отчуждения души от прошлой жизни, действующий ровно на девятый день после смерти человека, и меня с такой силой повлекло через щелочку в оконной раме в голубое поднебесье, что я не успела даже понять, что навсегда улетаю из родного дома.

Лечу, лечу, лечу! Поднимаюсь все выше. Достигаю космоса. И вижу такие чудеса в необъятном царстве звезд, планет и таинственных явлений, какие ни один человек на Земле не сможет себе представить, сколько бы ни напрягал он воображение, и слышу свист пронесшихся мимо и сквозь меня больших и малых камней, глыб льда и спекшегося железа. Звуки, между прочим, неплохо распространяются в скоплениях космической пыли, не хуже, чем в воздухе. Ух, красиво и страшно! Говорят еще, здесь невероятно холодно, абсолютный нуль, но я не замерзаю, как не сгорела бы в чудовищном пламени, долети я до Солнца. Холодно было тельцу

мальчика, которому я принадлежала. Вася и захворал от стужи в доме. Зимой отключили паровое отопление, и угол заиндевел, засверкал, как посеребренный. Мама зажгла электрическую грелку, взяла сына в свою постель и крепко прижала к себе, но на рассвете услышала его сухой надсадный кашель и ощутила исходивший от мальчика жар...

Мама, мамочка, мне плохо без тебя! Душа твоего ребенка так печальна, так одинока! Передается ли моя печаль твоей душе? Если бы я могла плакать, то, наверное, плакала бы бесконечно. Ведь я все ясно сознаю и очень страдаю, а не безразлично скольжу по Вселенной подобно световому лучу. Душа ребенка хоть и неопытна, но не меньше, не черствее и не глупее души взрослого. Она пуше томится, безошибочнее различает правду и ложь, скорее отзывается на чужую беду, улавливает суть многих явлений и чувствует бесспорные истины. Ребенок, конечно, не может выразить все свои догадки и представления, но не слишком на это горазд и взрослый человек.

А помнишь, мамочка, себя и Васю счастливыми? Тогда еще у мальчика был папа. Он дарил Васе игрушки и бегал ему в радость «лошадкой», встав на четвереньки, посадив краснощекого веселого бутузика себе на спину. Все вместе вы... нет, мы, мы!.. все вместе мы гуляли в парке, ходили на майскую демонстрацию, расцвеченную красными флагами, и папа носил сынишку на плечах и приподнимался на цыпочки, чтобы все малышу было видно. Папа служил военным летчиком. Он был красивый, умный и сильный мужчина. Вы оба были красивые, умные и сильные, стоили один другого и жить друг без друга не могли. Когда папа летал, ты, мамочка, смотрела с балкона или из окна нашей квартиры в небо, тревожилась и грустила, но он благополучно возвращался, и все так хорошо у нас складывалось до тех пор, пока однажды взрослые люди в стране словно все до единого не походили с ума. Взрослые неожиданно завоновались, засуетились, бросились смотреть по телевизору и слушать по радио какие-то шумные злые передачи и с безумными лицами стали повторять скороговорками, выкрикивать и петь длинное слово «де-мо-кра-тия», тяжелое такое, громоздкое, железное, словно произведенное роботом.

Это слово витает рядом со мной. В посвисте рассекающих космическую пыль метеоритов, в грозных отдаленных громах, гигантскими волнами катящихся от места взрыва солнц, в стенаниях грешных душ, встречающихся мне на пути, я слышу: «Демократия! Демократия!» – и еще больше страшусь Вселенной и космического одиночества. Мама, мама, прилетай ко мне! Вместе помчимся меж звездами! Вместе – не страшно, а интересно: пространство передо мной хоть и черно, как сажа, но вокруг много ярких огней и каких-то витающих мерцающих шариков, похожих на земные шаровые молнии. В космосе часто вспыхивают и переплетаются радуги, не коромыслообразные, но изогнутые по-всякому, так как пространство здесь то выпрямлено, то искривлено. Многие из радуг – не виданных мной раньше оттенков, потому что свет от звезд исходит многоцветный, и состоит каждый цвет еще из семи цветов, и преломляются лучи не в водяных капельках, а в прозрачных космических пылинках. Тут есть такие маленькие звездочки, что с ними можно играть, как с детскими игрушками. Если человек к ним притронется, руки его сгорят, испарятся, но душа обволакивает игрушечные звезды, держит их в себе и, позабавившись, несется дальше. Еще я видела огромные сияющие воронки, они медленно поворачиваются вокруг своей оси и всасывают метеорные тела и мелкие звезды в другие галактики. Душа-странница тоже может попасть в воронку, когда зазевается, но если поостережется, то проскользнет мимо опасного жерла за счет сверхсветовой скорости...

А однажды Васин папа вернулся домой хмурый и сказал: «Горючего нет, самолеты стоят, а я, кроме как летать, ничего больше не умею. Денег нам не платят, офицеры стреляются. Всё. Точка. Завтра еду в Чечню. Подписал контракт. Там, наверно, хорошо заработаю». Ты, мамочка, заплакала, закричала: «Не смей! Сумасшедший! Хочешь сделать меня вдовой, а ребенка сиротой? Лучше я буду работать на десяти работах! Наберу дополнительных уроков и подряжусь еще лестницу в нашем подъезде мыть! А ты не смей! Не пушу!» Первый раз в жизни

мальчик видел ссору между родителями. Впервые отец не заиграл, не пошутил, не заговорил с ним. Он уехал в Чечню и оттуда прислал хорошее письмо, в котором просил у жены и сына прощения. А потом, я знаю, улетел в космос. Помню, он мечтал побывать на других планетах, вот, может, и побывал, только одной своей душой...

«Убили, убили!» – повторяла ты криком, потом шепотом, а лицо у тебя было чужое, старое, серое, и глаза – в пол-лица. «Кто убил?» Ты не ответила Васе, даже не обернулась, а если бы направила глаза на сына, то, наверное, посмотрела бы сквозь него. К ночи, когда помутнение разума прошло и ты горько-горько заплакала, обнимая ребенка, он задал тот же вопрос: «Кто убил?» «Сейчас скажу», – ответила ты и сама понесла Васю в постель, хотя он вырос и был уже тяжеловат, и, уложив его спать, начала жутковатую сказку, то ли для Васи, то ли для себя: «Злой старик пришел на нашу землю, и лучшие, умные, красивые люди стали погибать. Папа твой погиб, теперь мы... Денег мне не платят. Никому из моих товарищей-учителей ни за что не платят, словно мы и наши дети не люди вовсе, а бездомные собаки, обреченные рыскать по помойкам. Некоторые люди рыскают, вынимают из мусорных баков и сдают бутылки. Я тоже пробовала, но не могу... Цены так быстро повышаются, что случайно заработанных денег и на плохую-то жизнь не хватает. Впору идти побираться, да вокруг много бедных, а богатые не подадут. Пока старик-кашей жив, беды не оберешься. Надо, чтобы он сдох». «Я, как вырасту, убью его», – сказал Вася. «Убивать не надо. Это грех на душу. Пусть умрет своей смертью. Есть еще слуги кашеевы. К тому времени, когда ты вырастешь, от него и слуг следа не останется».

Нет, Вася не вырастет. Он на Земле больше не существует. Я, его душа, скитаюсь в бесконечном пространстве, до сих пор сжимаясь от ужаса перед тем стариком и догадываясь: он уничтожил и Васю, выследил и напустил порчу, наверное, хочет весь род наш извести. Не прилетай, мама, ко мне. Лучше как можно дольше живи, назло старику, выйди опять замуж и роди много детей. Только будь осторожна, хитра и убереги от старика детей и мужа...

Летаю меж звездами сороковой день, и близок час, когда должна буду поселиться в чьем-то новорожденном тельце. Я выдержала в космосе этот тяжелый срок, определенный таинственным законом, и мое стремительное движение замедляется, я направляюсь к своей планете и вот уже плавно скольжу над ее поверхностью в голубом поднебесье. Слышала я, будто в межзвездном полете при запредельной скорости время течет по-иному: механические часы отсчитывают здесь сорок дней, а на Земле пройдет, может быть, столетие, – но вглядываюсь в родной город и ничего нового не замечаю: опять заснеженные мусорные улицы и унылые, суровые, злые лица людей. Налево шумит толпа с красными флагами, направо с трехцветными. Там строится особняк, тут беженцы ставят на снегу самодельную палатку, больше им негде жить. В одном конце города дерутся пьяные, в другом милиционер, весь серый, как мышь, тащит за шиворот испуганного худого человека. Шикарный легковой автомобиль переезжает малого ребенка и мчится дальше по мостовой. Женщина с грудным младенцем на руках примерзла к асфальтовому тротуару, тянет озябшую ладонь, просит подаяния. Этот тощ, как скелет, а тот дороден, словно племенной боров, самоуверен, состоятелен. И все окутывает серая мгла, и бедные с богатыми ненавидят друг друга. Нет, ничего не изменилось. Видно, к отлетевшей душе правила иного отсчета времени не относятся...

Мама! Мама! Почему так плохо? Почему грязно и грустно? Почему так злы люди? Не буду в них переселяться! Возьми меня к себе, обними мою душу своей душой и не отпускай от себя! Мне страшно!..

Паю над планетой. Заканчивается время отрешения. Неодолимая сила прижимает меня к Земле и нацеливает куда-то. Мне все труднее сопротивляться, я подчиняюсь этой силе и теперь думаю лишь о том, в чье тельце мне суждено встроиться. Наверное, много значит тут и потребность души: только что в порыве отчаяния я отказывалась надеть собой человека. Как магнитом, влечет меня не к родильному дому, а к жилому, к кирпичной многоэтажке, и я снижаюсь до подвальной отдушины, просачиваюсь в нее и завершаю свой земной путь за теплой

трубой, где на каких-то старых тряпках бездомная кошка выводит котят. Кошечка стонет и, откинув заднюю лапку, тужась, помогает выйти из чрева котенку. Достигаю новорожденного, внедряюсь в его крохотную плоть и больше не существую сама по себе.

– Опять Мурка окотилась, – говорили во дворе старушки, разглядывая белых котят, высунувших мордочки из подвала и сощурившихся под лучами весеннего солнца. – Может, кто подберет. А то – собаки разорвут или дети прибьют. Надо кошачьему семейству супчика принести.

Душа матери

– Бедный! Маленький! Откуда ты? Где твоя хозяйюшка? А где мама? Пропадешь тут один! Худенькая женщина, присев на корточки, гладит льнущего к ней белого котенка. У женщины глубоко запавшие печальные глаза и тихий голос. Котенок вылез через подвальную отдушину на свет Божий, на солнышко, потянулся, зевнул и, увидев женщину, пошел за ней. Вообще, он людей сторонится, знает уже, несмотря на свой малый возраст, что люди могут быть опасны, но от этой чужой женщины не шмыгнул назад в подвал. Женщина спешила, но, обратив на котенка внимание, задержалась возле него. Торчком поставив хвостик, малыш трется боком о ее ногу и жалобно мяучит, а когда незнакомка пытается продолжить свой путь, вприпрыжку бежит за ней. Она опять останавливается.

– Что ты, глупенький? Я ведь на работу опоздаю. Давай поцелую тебя в розовый носик и пойду. Вот так. Чмок-чмок! Теперь ступай ищи маму или хозяйку. Больше не бегай за мной. Хорошо?

Простившись с ним, она сворачивает в подворотню, минует ее и идет к автобусной остановке. Котенок послушно остается на месте и смотрит ей вслед.

Возвращаясь к вечеру, она опять встречает его во дворе и, вздохнув, берет на руки. Прижимая детеныша к груди, женщина входит в свой подъезд, вызывает лифт и поднимается к себе домой. Открыв дверь, она ставит у порога сумку со школьными учебниками и тетрадями, пускает гостя в прихожую и зовет в кухню.

Налив котенку молока из пластикового пакета, хозяйка смотрит, как жадно малыш лакает, поставив одну лапку в блюдце, фыркая и от удовольствия дрожа. Худ очень, голоден, брошен на произвол судьбы кошкой-матерью, потерявшей голову от успеха у котов. Его беспризорные братцы однажды ушли куда-то из подвала и не вернулись; он живет в одиночестве, скудно питаясь подающим, и, конечно, давно не видел молока. Шерсть на его подбородке, намокнув, собирается пучочком, отвисает козлиной бородкой. А женщина сидит у стола, жалостливо смотрит на котенка и думает: «Что это он увязался? Куда я его дену? Не выброшу же после того, как принесла домой и накормила!»

– Пей, пей. Не спеши. Никто не отнимет. Будет мало, еще подолью.

Котенок оборачивается, жмурится, благодарит взглядом, а благодетельница продолжает с ним разговаривать:

– Плохо мне, котик, печально. У меня муж погиб, а потом сынок заболел и умер. Жить без них не хочу, не могу. Знаю, это великий грех, но не хочу. Молю Бога, чтобы послал мне скоруую кончину, и прошу у Бога прощения...

Котенок пересытился, отяжелел, отступил от блюдца. Он стоит со вздутым животом, облизываясь, качаясь, закатывая осоловелые глаза, потом валится на бок и засыпает. Женщина относит его в комнату. Там она ложится на диван отдохнуть, а спящего малыша оставляет у себя на груди. Он свернулся калачиком и сквозь сон тихонько мурлычет.

Она согревается его живым теплом и уже горячо любит это крохотное пушистое создание. Женщина поглаживает котенка по мягкой шерстке и чувствует почти кровное родство с ним. Ей необыкновенно хорошо и хочется плакать светлыми слезами, но оттого, что котенок доставляет ей несказанную радость, ее человеческое горе делается горше, и она опять думает о том, что не желает больше жить. С той поры, как потеряла близких, она толком и не живет на свете, механически ест, спит и ходит на занятия в школу, вяло движется, не улыбается и, точно древняя старуха, смотрит потухшими глазами. Настроившись умереть, женщина теряет силы и чувствует приближение смерти. Нынче ей очень неможется: стоило прилечь, как по телу разлилась болезненная усталость, голова отяжелела, затуманилась, а сердце стронулось с места, захолоуло и застучало с переборами. «Во рту сухо, – думает она. – Схожу попить», – и, придерживая

котенка, хочет подняться с дивана, но не преодолевает слабости. Котенок, вдруг проснувшись, встает и, потоптавшись легкими лапками на ее груди, внимательно разглядывает благодетельницу. «Что это он так смотрит? – думает женщина. – Прямо как человек».

– Буду жить для тебя. Я тебя не брошу.

Прошептав это, она светлеет лицом и поблескивает ожившими глазами. Ей чудится, будто тело крепнет, наполняется энергией, вот только почему-то холодно ногам, стыннут ноги, как на морозе. Холод поднимается выше, достигает туловища. Женщина, думая, что просто зябнет, тянет руку к висящему на стуле темному пледу и тут вдруг догадывается, что умирает. «Зачем? Как некстати! Не надо! Это нелепо! Ведь заново обретается смысл жизни, наступает успокоение, греет душу любовь к бедному котенку!» Одним резонным доводом она противится смерти, другим ускоряет ее: «Ты сама хотела преждевременной кончины. Твое сердце истощено безысходной тоской, мозг иссушен черными мыслями, даже течение крови, наверное, замедлено безразличием к жизни. Все твое существо подготовилось к смерти. Она явилась в неожиданный час, и ее не отворотить. Поздно».

Холод-смерть сковывает женщину, подбираясь к ее сердцу. Умиравшая – в сознании. Она чувствует, как, слабо щелкнув, сердце останавливается, как отлетает душа, а вскоре душа видит распростертое на диване тело, которое покинула, и жалеет о нем. Котенок дугой выгибает спину, взъерошивает шерсть, раздувается, как пузырь, и, ощерившись, не по-котячьи страшно шипит. Он соскакивает с леденеющего трупа и в недоумении смотрит на него.

* * *

Я, душа, боюсь, что малыш пропадет, погибнет от голода. Кто о нем позаботится? Кто нальет ему молочка? Скоро ли кто-нибудь спохватится, что одинокая женщина перестала выходить из дома?

Витаю над котенком, обволакиваю его собой и грею. Он улавливает мое слабое поле и, вспоминая человечье тепло, радуется, пробует мурлыкать. Медленно плыву в кухню, животное неловко спрыгивает, сваливается с дивана, идет за мной. Хочу, чтобы оно поело. Это возможно, если котенок догадается влезть на стол и сунет мордочку в банку с кипяченым молоком.

Но он вдруг опять настораживается, беспокойно озирается по сторонам. Ну, ничего. Как станет голод грызть ему кишочки, как сведет судорогой животик, малыш облизает все углы, доберется до молока, а потом и опрокинет банку. Некоторое время продержится.

Возвращаюсь в комнату, а он опять за мной, наостряет уши, вертит головой и шевелит усами – чует, бедняжка, мое присутствие, да ничего понять не может. Облетаю пустую квартиру, прикасаюсь к фотографиям на стене, втиснутым в железные рамки, целую, как могу, портреты близких и потом ласкаю котенка. Будь здоров, котик! Постарайся не умереть до тех пор, пока тебя найдут! Я еще вернусь узнать, как твои дела, а сейчас, извини, полечу на волю, посмотрю вокруг, давно уж открыто не смотрела на мир, на людей, таясь в замкнувшемся от горя человеке.

Вылетаю в открытую форточку и, набрав высоту пассажирского самолета, парю над моим городишком. Все мне в нем знакомо, но не то, чтобы все опостылело, просто многое связалось с тяжелыми воспоминаниями. Городишко не так далек от Москвы. Направляюсь в Москву. Знаю там одно место, подходящее для опечаленной души. Его отыскала после пережитого горя молодая вдова и мать умершего мальчика – поехала однажды в столицу, зашла с одной своей подругой в крематорий, а в погребальном зале играют третью часть сонаты номер два си бемоль минор Шопена, похоронный марш. С тех пор меня влечет туда слушать траурные сочинения, концерты великой музыки, в которых подобран скорбный репертуар. Несчастную душу грустная музыка умиротворяет, а веселая тревожит. Всякая душа, я знаю, по-своему склонна к минору, к ощущению собственной и всемирной беды. Иное дело – душонка. Чем меньше она

и мельче, тем беззаботнее веселится и безогляднее пляшет даже на кладбище, на могилах, на трупах, на детских косточках...

Витаю над чьим-то гробом в похоронном зале. Нынче обряд сопровождается музыкой Баха, «Страстями по Матфею». С десяток мужчин и женщин в черном склонились над покойником, кто-то целует его в лоб. Его острые нос и подбородок, туго обтянутые желтой кожей, скоро исчезают под крышкой. Гроб тихо движется по эскалаторной ленте, но вдруг останавливается и опускается под разверзшийся пол, в огнедышащую печь. Вот и все. Был человек – и не стало. Вмиг погиб «внутренний мир», микрогалактика. Смерть уничтожила помыслы и страсти, огонь поглотил тело. Покойный, наверно, и не вспомнил ни разу, что брэнен, и был он, возможно, не в меру самонадеян, жаден и честолюбив. Но... остается зола. Впрочем, где-то скитается его отлетевшая душа, ждет так же, как я, времени переселения.

Выбираюсь из крематория и, поколебавшись над ним в клубах дыма, поднимающегося от печей, стремлюсь вверх. Душу тянет летать. Чем встревоженнее она, тем быстрее способна двигаться. Мгновение, другое, третье – и я пронизываю синий воздушный слой и оказываюсь в черном космосе. Мне бы встретиться здесь с душами мужа и сына, сплестись с ними, слиться и, чувствуя трепет наших биополей, полетать в межзвездном пространстве. Но души милых моих близких давно обитают в ком-то другом, составляя вместе с новой плотью новые живые существа. Их мне не найти. Я одинокой осталась на Земле, одинока и во Вселенной.

Тоскую по мужу и ребенку, разгоняюсь сильнее и мчусь как фотонная ракета. Еще недавно неплохая школьная «физичка» рассказывала детям про фотонные ракеты и межзвездные корабли (похоже, люди никогда их не построят, скорее, погубят себя, самоуничтожатся в распрях), а теперь ее собственная душа разогналась до световой скорости. Полетав, пометавшись, заглушив свою боль чудовищно быстрым перемещением в пространстве, вдруг устаю, притормаживаю и останавливаюсь, а потом дрейфую в потоке солнечного ветра. Попадаю в радиоволны, качаюсь на них, словно купальщица на волнах теплого моря. Сигналы идут от Земли. Наверное, люди ищут во Вселенной братьев по разуму. Цель благородная, но как было бы хорошо, если бы люди Земли чаще посылали приветы в души друг друга...

Нет сил любоваться космическими красотами. Летаю бесцельно, снова оплакиваю души сына и мужа. На пятый день возвращаюсь домой. Форточка закрыта, окна занавешены. Проникаю в щель. О, Боже! Тело, покинутое мной, до сих пор не захоронено! Оно лежит на столе, одетое для погребения в серое штапельное платье (было такое у учительницы, она думала, что выросла из него) и в простые рифленые чулки, а обутое в парусиновые тапочки. Лицо покойной как бы сшито из атласной материи, глазницы слишком глубоки, нос длинен, все черты неестественно впалы и выпуклы, челюсть подвязана бинтом. Лицо то и не то, знакомое и чужое. Это не лицо человека, а «маска смерти». В комнате милиционер, стоя пишет в блокноте. Другой посетитель – учительница не очень молодая (у нее от слез покраснели глаза) – берет с подоконника свою сумочку и, направляясь к двери, извиняется, обещает, что на похороны придут все учителя. Соседская бабушка в черном платочке крестится и причитает над телом, делится с милиционером:

– Отмаялась, сердечная. Уж очень тосковала, сил смотреть не было. Пять ден, как померла, а никто не хватился. Хорошо, я котенка услышала, думаю, что-то тут не так, мяучит под дверью, душу разрывает... Голодный, смотрю, кожа да кости, я его к себе взяла, накормила, напоила... И схоронить по-человечески не можем. Ни гроб купить, ни помянуть не на что. Денег на похороны никто не дает. Нету ни у кого денег, не платят... Когда такое бывало? В пакете придется в могилу класть! Вот до чего докатились!..

– Тут я, мамаша, не компетентен, – отвечает милиционер, продолжая писать в неудобном положении. – Мы гробы не покупаем. Наше дело удостоверять, что гражданин или гражданка скончались сами по себе, а, например, не убиты кем-нибудь или не доведены до самоубийства. В противном случае заводим уголовное дело. Милиция за похороны не отвечает.

– А теперь никто ни за что не отвечает! – сердито бормочет старушка, и жалко мне ее, совестливую и беззащитную. – А если кто и отвечает, то все равно не спросишь с него! Нынче человека и при жизни мордуют, и после смерти!.. Ладно, мы схороним! Поверх могилы не положим! И отпоем, и поминки какие-никакие всем миром справим! А этим жирным котам, которые жизнь такую устроили, на веки вечные ни дна ни покрывки! Прости меня, Господи!..

Не дослушав, опять стремлюсь на волю. Спасибо, добрые соседи! Спасибо, учителя! Если доведется увидеть Бога, расскажу о вас! Опечаленной душе в космосе уютнее, чем на Земле. Здесь дождусь я времени отрешения, оно в том лишь состоит, что, начиная со дня девятого после смерти тела, Земля будет мне чужда и я не смогу к ней приблизиться вплоть до дня сорокового.

Как ни горько мне вспоминать мужа и сына, я невольно созерцаю широкие многоцветные лучи, прорезавшие черноту бесконечного пространства. Источник свечения тоже виден, он выкатывается из-за огромной малиновой планеты, ослепительно сияя, крутясь волчком, испуская эти чудесные лучи, трепетные, как крылья бабочки. В то же время – благодаря необыкновенной способности души – гляжу в обратном направлении, люблюсь видом приближающейся ко мне звездочки. Голубая звезда зеленеет и расправляется, как полотно, потом обращается в шар, желтеет, краснеет, но ее жгучая краснота перехвачена белыми кольцами – это, наверно, в лаве выделяется плазма. Лава бурлит, бушует, я вижу ее грозные всплески, похожие на всплески кипящего в кастрюле бульона, и мне не мешают смотреть клубы газов, ползущие по расплавленному шару. Сказочные картины...

К «сороковому дню» сам собой замедляется мой стремительный полет. Что-то влечет меня, притягивает к Земле, и я не сопротивляюсь могучей силе, душа рада возвращению на Землю. Встретив стайку певчих птиц, следую за стайкой, с ветерком мчащейся к загородному лесу, и на светлой опушке перелетаю от куста к кусту, от дерева к дереву, а вскоре, покинув птиц, облюбываю плакучую березу, одиноко стоящую среди солнечной поляны. Меж гибких ветвей-ожерелий, унизанных зелененькими листьями, я успокаиваюсь и уже знаю, что потому не направилась в город, что поддаюсь главному своему повелителю – чувству, приказавшему мне избежать поселения в тельце новорожденного младенца. Зачем я ему, такая печальная и слабая? Человеку нужна душа сильная, веселая, побуждающая его к великим делам, полнокровным радостям и безграничной доброте. А мое место здесь, в лесу. Замечаю маленький нежный побег у самого подножия березы, вот его и наделю собой. Побег со временем превратится в чудесное дерево, и две плакучие березы-родственницы, прильнувшие друг к другу, поразят любителей леса своей необычной одухотворенной красотой. Грибники и ягодники станут задумчиво рассматривать их, отдыхать под гостеприимной сенью и проникаться счастьем бытия, Божьей благодатью.

Я готова. Достигаю корней березового побега. Отныне в древесном младенце живет человеческая душа.

Душа Глеба-дурачка

...А тут мне хорошо, потому что никто не обижает. Если бы Глебушка летал меж звездами весь целиком, все равно его никто здесь не обсмеял бы, не толкнул и не стукнул, и злые дети не плюнули бы в него густой слюной, которая тянется, как резинка, а потом обрывается, и не спросили бы они: «Хочешь жениться?», – и не подстрекнули: «Видишь деваху? Клевая, да? Поди скажи: «Хочу жениться», – и поцелуй в засос».

Нет тут никого, на небе-то, ни взрослых, ни детей, и Глеба тоже нет, его на Земле убили, одна я, душа убогого, летаю в мировом пространстве, и широко мне, свободно, привольно. Иногда проносятся мимо еще чьи-то души, но не обращают на меня внимания, куда-то спешат, выбрали направление и не сворачивают, и все серьезные такие, сердитые, озабоченные, просто не подступись. Я и не подступаюсь, резвлюсь сама по себе и летаю в разные стороны, по-мушинному, завожу хороводы с маленькими звездочками, белыми от жара, а размерами-то всего с мячик, кручусь вокруг них колесом, выюсь змейкой, трепещу, рассеиваюсь и уплотняюсь, и звездочки смеются от радости, что-то стрекочут и принимаются ярче сиять в черной черноте. Тут, кроме звездочек, много еще для меня игрушек: камни летают, может, драгоценные, шары как из стекла, глыбы железные, а то и золотые, и серебряные, я же не знаю. А однажды мне встретила кукла с длинной головой без волос, один глаз на лице, во лбу, носа нет, а рот от уха до уха, наверно, кто-нибудь, с другой планеты, занес и потерял, может, стала не нужна, и выкинули из звездолета. Дома у Глеба тоже была игрушка, на колесах, мамка подарила. «На, – говорит. – От сердца червонец оторвала. Вози, Глебень, шуруй. Ты у меня хоть глупый, а чай, тоже дите, поиграть хочешь». Она сынка то Глебушкой звала, то Глебкой, то Глебнем, то, как побольше выпьет и сильно разозлится, Глебищем: «У, Глебище проклятый! Зачем только на свет родился? Жизнь мне испортил! Так бы и удавила своими руками! Что лыбишься всегда? Что у тебя слюни-то вечно текут? Вытереть, что ли, не можешь?» А он не обижался, добрая мамка хлеба сынку давала, супа и каши и не очень его била, только иногда хрясть кулаком по спине. И в Бога она учила верить, и креститься, вот этой правой рукой, приговаривая: «Господи, благослови. Прости мою душу грешную». Он игрушку песком нагружал и возил за веревочку, а потом один мальчик во дворе раздавил ее каблуками, это уже когда у Глебушки борода стала расти. Топчет мальчик игрушку, а она плачет. Другие мальчики подошли, смеются. «Старый, а дурак! – кричат на весь двор. – Скоро двадцать лет, а он машинку за веревочку возит!» Глебушка плакал вместе с игрушкой. Размазывает слезы по щекам и думает: «Жалко мне ее. В чем песок буду возить? Я дурак, я знаю. Такой я уродился. Может, мне голову у мамы в животе чем-нибудь прищемило. А вы умные, вам хорошо. У меня ум тоже есть, но он далеко, в середине головы, за пленкой и туманом. Его пленка и туман не пускают, и он в душу откладывается, копится там. У вас в голове ум, а у Глеба в душе. Я как собачка или кошечка: все понимаю, только сказать не могу. Мне играть охота, а мальчики смеются...»

Еще звездолет встретился душе, большой круглый дом в синих огнях и с прозрачными трубами, они стреляют бешеными лучами, которые пробили бы Глебушку насквозь, если бы он летал здесь весь целиком. Хотелось посмотреть, кто в звездолете. Сколько ни искала я дырочку, щелочку, ничего не нашла, гладко все кругом, на яйцо похоже, а в прозрачные трубы меня лучи не пустили. Как туда летчики залезают? Где живут-то эти, в звездолете? Где их планета? Что так далеко залетели? – вон уж три красные Луны видно впереди. Может, умерли все летчики? Или я сама так далеко унеслась от Земли, что не смогу теперь к ней вернуться и буду вечно странствовать в космосе? По-моему, это я засмотрелась, заигралась и унеслась, – а они тут, наверное, почти как дома. Полечу искать Землю. Скорее! Скорее!..

А мальчики во дворе позавидовали бы Глебу, узнай они, какие чудеса видит его душа, или сами захотели бы умереть и полетать в космосе. Что они сейчас делают? Может, в карты

играют, курят и пьют пиво. Может, ссорятся друг с другом. Не надо бы им ссориться. Скучать не надо, тогда и ссориться не будут. Пиво тоже им пить нельзя, и в карты играть, и курить. Почему их мамки за это не ругают?.. Все же из-за космоса не стоит никому умирать, полететь в него всегда успеется. Лучше пусть мальчики долго живут на Земле, только весело, чтобы ни умирать им не хотелось, ни ссориться, ни издеваться над кем-нибудь. Глеб их всех любил, а они его обижали. За Глеба-то Бог, наверно, простит, а за ворону, по-моему, накажет. Мальчики ворону убили. Они собрались за город в луга купаться и Глеба для потехи взяли с собой, и там на озере убили ворону. Глеб все видел. Она подраненная была, с крылышком больным, и взлететь с воды никак не могла, плавала недалеко от берега и трепыхалась. Дети обрадовались и стали кидать в нее камни. Ворона хотела скорее к берегу подплыть, спрятаться в осоке и спастись, но они кидали и кидали, чтобы не подплыла и не спряталась. Один попал ей в спинку. Ворона захлебнулась, но не умерла. Захрипела, затряслась, распушила перья и повернула к другому берегу, крылышком здоровым замахала. Мальчики вперед ее забежали и опять: швырк-швырк, бах-бух. Она изо всех сил назад, и дети тоже. Так и плавала, бедная, туда-сюда, и мальчики бегали с берега на берег с камнями в руках, а Глеб, запыхавшись, гонялся за ними, хватал каждого за руки и просил: «Не надо! Не надо!» Второй мальчик попал вороне в большое крылышко, почти совсем оторванное и розовое в том месте, где оторвалось. Она захлебнулась еще сильнее, чем в первый раз, и заморгала черными глазками, и серый клюв широко раскрыла: «Крр... Крр... Не убивайте! Я жить хочу! Меня птенчики ждут!..» Потом самый меткий сказал: «Вот сволочь, жить хочет. Не-ет, от моей пули не уйдешь!» – и прицелился булыжником и попал ей в голову; ворона свалилась на бок, подняла здоровое крыло и слабо так, прощально им помахала, прошелестела. «Вас Бог накажет! Накажет! Накажет!» – залепетал Глебушка и кинулся в воду, схватил мертвую птицу и гладит ее, и прижимает к сердцу. «Я ворона! Меня расстреливайте! Все равно вас Бог накажет!» «Вот дурак-то! – заорали дети. – Дурак, он и есть дурак! Станет Бог за ворону наказывать! Он и за тебя-то не накажет, если расстреляем! Молчи, урод сопливый! Не то взаправду убьем!» Они не убили, это сделали большие, уже потом, а мальчики нарочно в Глеба не попали, хоть и кинули два камня. Ты, Бог, этих мальчиков за все прости, и за ворону тоже. Они дураки, как Глеб, только у него ум был слабый, а у них глупая душа...

А мамка, у-у, какая умная, книжки читает! Папка ее сильно обижал. Они вместе вино пили и после дрались; он бил чем попадя и еще ножиком размахивал, и мамке сильно доставалось, пока один раз зимой он не ушел без пальто и не заснул в сугробе. Мамка горевала, но не сильно. «Вот, – говорит, – и остались мы, Глебень, вдвоем. Плохо без отца, но, кабы не замерз твой, не окошел, как собака, я бы эту заразу истребила самолично. Что мне с тобой делать, скажи? Проку от тебя никакого, только и знаешь, что жрать да на двор ходить. Башка большая, а соображения нет, и мук ты моих никогда не поймешь. Что уставился? Глаза у тебя какие-то китайские, что ли, раскосые, точно с похмелья. Нет, я родного сынка никому не отдам, не брошу. С ним мне бывает очень даже ничего. Если представить тебя как домашнюю животинку, то с тем, что ты существуешь на свете, можно согласиться. Ладно, шуткую я. Не бойся, мы с тобой не пропадем. Руки-ноги есть, заработаем что надо. Живи, Глебка, себе на радость, матери на страх». Он всплакнул одними глазами – жалко было отца. «Ты не шуткуешь, ты злишься, – догадался Глеб, но сказать понятно не сумел, пробубнил что-то не на людском языке. – Я не животинка. Я такой же, как все, только мозги под пленкой и туманом. У одного с рождения нога короткая, у другого рука шестипалая, а у меня в голове неправильно устроено. Муж твой умер, ты с ним долго жила, значит, должна горевать. Почему не плачешь?» Еще попыттел Глеб, как ежик, поворчал себе под нос, но вскоре уж опять расплылся в улыбке, и слезинки у него в глазах засияли весело, не умел долго обижаться на мамку. Потянулся к ее щеке, рот сделал кружком, чмокнул и засмеялся, чмокнул и засмеялся. Рот, род, рад, ряд... Слова интересные, какие-то похожие. На звук отличаются, а разные. У Глеба много всяких

мыслей бывало, и про слова, и других, западали в голову, а уходили в душу, и если бы в мозгу у него лопнула пленка и рассеялся туман, Глеб сказал бы что-нибудь очень умное и перестал быть дураком. Почему у всех людей одна голова, две руки и две ноги? Это несправедливо. Умным положена одна голова, глупым две. Тому, кто много работает, мало двух рук, а тому, кто работать не любит, хватит одной: кушать и штаны в уборной снимать. И не всё у людей должно быть одинаково. У добрых пусть растут белые ровные зубы, а у злых черные клыки, честным надо родиться красивыми, жуликам уродами, чтобы сразу узнавать, кто какой, а то часто бывает наоборот... У Глеба и стихи в голове складывались. Я, душа, помню про корову и траву:

*Хочу травой стать,
Пусть съест меня корова,
И люди все напьются молока.
Не ешьте только бедную корову —
Она почти такой же человек...*

Ничего хорошего в космосе нет, я вам скажу. Мне в нем надоело. Здесь грустно и пусто, хоть места полно и свободы, лети, куда душе угодно. Куда я полечу? Зачем место и свобода, если просто летишь в одиночестве, а кругом холодные звезды, и есть чему удивиться, но нечему порадоваться? Хочется выть на всю Вселенную и с тоски камни грызть, только я не могу. На Земле хорошо. Там трава зеленеет, солнце светит, или облака бегут и дождик из них льется – тоже ведь приятно. Там птицы, кошки и собаки. Мамка там и знакомые мальчики во дворе. Мамка теперь одна, скучает. Похоронила сынка и места себе не находит, слоняется по комнате от двери к окну, от окна к постели. Я видела. После Глебушкиных похорон душа прилетала и пожила еще дома, пока на девятый день космическая сила не отправила ее в долгий полет. А мальчики, может, теперь жалеют Глеба. Если бы Глеб ожил и вернулся, они, наверно, пообижали бы его еще немножко и перестали, он бы их опять простил, и им неинтересно было бы его обижать. Он бы и соседку свою опять простил, тетку шумливую, она звала Глеба идиотом, пугалом, а его мамку неряхой и пьяницей, и не держал бы зла на ехидного соседа, который дал ему в фантике кошачью каку заместо шоколадной конфетки. Он всех простал, и я, его душа, унесла в космос печаль, а не ненависть и не пожелание горя обидчикам своим...

Во дворе их с мамкой дома мужчины поставили стол, играть в домино. Если дождик не шел, они играли каждый вечер, а по субботам и воскресеньям с утра до вечера били костяшками по столу и потягивали из бутылки вино. Они и Глебу давали потянуть из бутылки. Глеб потом долго кашлял, плевался и кривился, а мужчины смеялись весело. Мамка его отругала, и он ей пообещал больше не пробовать вина, оно ему очень не понравилось, горькое и жжет. Один раз мужчины играли на солнцепеке и часто бегали в магазин. Носы у них обгорели, лица покраснели, глаза сделались стеклянные. Глеб к ним не подходил, как мамка велела; он сидел неподалеку в песочнице и вместе с маленькими детьми куличики пек. Двое доминошников заспорили. Старый сказал молодому: «Ты у меня подглядываешь, потрох сучий, ночуешь в моих фишках». А молодой ему: «Ничего я не подглядываю. Ты, пенсионер, играть не умеешь, а я играю хорошо». Третий, в белой фуражке, сказал на молодого: «Он наглый. Он и пил нечестно, больше всех. Давай проучим». «Я тебя сам проучу», – сказал молодой и ударил третьего, сбил с него белую фуражку и расквасил ему нос. Тогда первый, седенький, схватил молодого жилистыми руками и стал душить. Другой растер кровь под носом и стукнул парню кулаком по голове. Двое свалили его на землю и давай пинать в грудь, живот и голову. «Ты на кого полез, сопляк? – приговаривал с расквашенным носом. – Я известный в городе хулиган! Видишь, стриженный наголо? Ты кому кровь пустил?» Четвертый сидел у стола лицом наружу, качался и протирали глаза. Протерев, он вскочил со скамейки, заорал и налетел на молодого. Во

дворе гуляли взрослые и дети. Все побежали смотреть драку. Глеб тоже вылез из песочницы, остановился в толпе и забормотал, дрожа, припрыгивая и взмахивая руками: «Ой! Ой! Ему больно! Больно!» Я, душа, подступала к его сердцу и уходила в пятки. Я звала Глеба спасти молодого. Парень был по пояс гол. Его тело от пинков покрылось ссадинами и синяками. Он не успевал встать, как снова падал, и от боли охал, рычал, хватался за бока, щупал во рту зубы, поблескивая железными коронками. В толпе виднелись сильные мужчины. Одному испуганная женщина сказала: «Что вы стоите? Вы сильный! Разняли бы их!» Он ответил: «Я не дурак. И не подумаю всякую пьянь разнимать. По мне пусть хоть горло один другому перегрызут. Чем больше их взаимно уничтожится, тем меньше будет пьяниц и наркоманов». Другой мужчина хотел вступиться, но жена схватила его за руку: «Ты дурак, что ли? Ненормальный, да? Делать тебе нечего? Больше всех надо? По башке хочешь получить?» Четверо сплелись в клубок, покатались, рассыпались, потянулись к камням и пустым бутылкам. Стало непонятно, кто кого бьет, но трое снова объединились и напали на одного. Кто-то подобрал камень, чтобы стукнуть им молодого. Глебушка сделал шаг, потом выскочил из толпы. «Я, я дурак! – подумал он. – Я ненормальный! Мне надо больше всех! Я спасу! Я разниму!» – и на своих косолапых ногах подковылял к руке с камнем, схватил ее и пригнул к земле, а потом стал расталкивать дерущихся и изо всех силенок бить кулаками. Мужчины удивились, сильнее рассвирепели и с доминошника перекинулись на Глеба. Он попал под их главные удары. А много ли ему было надо? В чем душа держалась. Седенький угодил ему ногой в висок, и я покинула хилое тело и понеслась на небо, слыша внизу детские крики: «Глеба-дурачка убили! Глеба-дурачка убили!» – и неожиданный вопль мамки, бегущей по двору: «Глебушка-а! Сыно-о-чек! У кого рука на сыночка моего поднялась? Он же свято-о-й!»

... Сорок дней проходит, как дурачок умер. Земля намагничивает его душу, притягивает к себе, и я не хочу сопротивляться, я уже парю над ней и, опускаясь все ниже, радуюсь возвращению на Землю, в родной город. Знаю, в чье тело мне переселиться, выбрала, странствуя в космосе. Успеть бы только. К дому, где жил Глеб, примыкает дом, где живет знаменитый художник, его окна смотрят во двор. Он давно не выходит на улицу. Говорят, раньше его картины были прекрасны, но художник изработался, потерял светлую душу и стал рисовать скучно, обыкновенно. Ума много в его картинах, говорят, а души нет. Он потому и не выходит, что стыдно показаться людям, его ведь назвали народным художником. Где он душу-то потерял? Почему тело живым осталось? Разве так бывает? Бедный он, несчастный... Слышала, что я золотая душа, добрая и любящая, я и пригожусь теперь художнику, заменю ему потерянную душу. Лечу к его дому, но прежде вижу свой, и так хочется мне в последний раз увидеть мамку, так грустно одинокой душе. Времени нет, надо торопиться. Снижаюсь до окон художника и через раскрытую форточку влетаю в квартиру. Хозяин сидит в кресле, тощий, небритый, неряшливый, и халат на нем помятый, а из-под халата видна голая грудь. Еще не очень старый он, а морщинистый, бледный, изношенный. На коленях у него кошка. Больше никого в квартире не видно и не слышно, художник живет один, все его бросили. Он гладит кошку, прикрыл глаза и словно спит. В комнате пыль, беспорядок, и постель не убрана. Возле кресла на полу стоит бутылка. Художник опускает за кресло руку, берет бутылку и подносит горлышко ко рту. «Сейчас, сейчас! – думаю я. – У тебя прояснятся тусклые глаза. Ты встрепнешься и порозовеешь, захочешь вымыться под душем, гладко побриться и хорошенько поесть, а дальше чему-то обрадуешься и не поймешь – чему, но помчишься, как на крыльях, в свою мастерскую, чтобы взяться за работу. Сейчас, сейчас!..»

Он запрокидывает голову и хочет глотнуть из бутылки. Я опережаю вино и прежде него вливаюсь в бренное тело.

Душа Альберта Карышева

Смерть уже подступала ко мне, когда я был помоложе, но смилоствилась смерть и не отделила душу от тела. Теперь я устаю, старею, и душа моя готовится к стремительному полету меж звездами.

Я примерно знаю, как это произойдет. Душа покинет тело скоро и бесшумно, но не прямо вырвется на свободу – сперва минует длинный коридор, тоннель или глубокий колодец, в которых встретит образы близких мне людей, покойников разных поколений, а в конце она увидит свет солнца, такой же праздничный и тревожный, какой поражает младенца, выходящего в мир людей из лона матери. Тоннель я помню хорошо. Моя душа достигала его середины, но потом вернулась назад, в тело...

Девять дней после моей смерти она будет свободно летать над Землей, как всякая человеческая душа, и, пользуясь особой текучестью своей субстанции, проникнет всюду, куда ее повлекут чутье и любопытство (я условно приземляю особые качества отлетевшей души, даю им обиходные названия, так как других не знаю).

Мне уже видится, как она плывет над Владимиром и с грустью смотрит по всем направлениям, но более всего разглядывает город внизу, жалеет обитающих в нем людей. С траурным замедлением, словно в потоке похоронной процессии, душа моя направляется к старому кладбищу, к могилам близких: матери Анны, бабушки Марфы, сестры Виолетты и тетки Дины, всех, с кем я в начале войны, в сорок первом году, эвакуировался во Владимир из родного Наро-Фоминска. Теперь-то душа найдет эти могилы, вырытые одна возле другой. При жизни я напрасно искал их долгие годы. Бульдозер, направляемый твердой рукой, снес многие травянистые холмики, отмеченные бедными памятниками, а на другие упали вековые деревья, поверженные пильщиками, которых для этого позвали. «Ну, вот, – скажет душа моим покойным родным. – Хоть под древесными завалами, под хворостом и мусором, но напоследок я отыскала ваши могилы. Полечу дальше, прощайте. Из прежних поколений нашей семьи, – заметит душа, – больше никого не осталось в живых, а поздние поколения – совсем уж юные, некоторые вроде бы даже иноплеменные».

Помедлит душа над Владимиром. Многое она помнит в этом городе: детство мое, горе и счастье, – и в нем еще живут друзья и недруги, с ними бы и хотела душа проститься, их времяпровождение желала бы подсмотреть. Она было ринется в чей-нибудь дом, но, знаю, до места не долетит. Как бы ни разжигалось ее любопытство, она не станет подглядывать, остановится, в ней заложено праведное русское воспитание, и душа знает: достойно лишь смотреть, в настоящее и будущее, а подсматривать – гнусно. Но простить и проститься душа все-таки сможет, явившись друзьям и недругам в странных сновидениях.

Друзья, друзья, друзья... Они словно птицы, сопровождающие тебя в полете. Мы пили водку, пели под гитару, болтали о литературе и политике, ходили в лес по грибы, искали взаимного сочувствия в огорчении и радости и были уверены, что это и есть настоящая дружба, а иной быть не может. Но вот недавно я подписал мою книгу одному человеку, употребив душевные испытанные слова: «На память старому другу», – и в ответ услышал: «Знаешь, я, честно говоря, как-то не чувствовал себя таковым. Твердо не чувствовал, ей-богу. Нет, мы друзья, конечно... Ничего плохого не подумай, но внутренне я себя другом не чувствовал, больше внешне проявлял...» Я удивился, опечалился и не спал три ночи, но потом успокоил себя рассуждением: главное то, что я сам искренне дружил, а дружествен ли был друг – это остается на его совести. К тому же настало время неожиданных признаний и необыкновенных превращений. Мы живем в страшную пору. Многие накладывают на себя руки и сходят с ума. Вот и старый друг, в некотором смысле, наверно, повредился. Но, может быть, наоборот, он стал разумнее и понял, что теперь удобно ему дружить с кем-нибудь более современным, чем

я, неисправимый идеалист и романтик. Слаб человек. Я на него не сержусь. Со всеми друзьями моя душа расстанется без обиды и ожесточения. Если раньше и таились в ней обида и ожесточение, то, освободясь от тела, она утратит дурные качества и понесет по небу философскую мудрость, любовь к близким, друзьям и прощение недругам.

Предполагаю, что из города она направится к морю, скорее всего – на Север. Обстоятельства жизни не дали мне навсегда связать с морем судьбу, но отлетевшая душа в полной мере удовлетворится его созерцанием. Она застанет бледные сполохи на низком северном небосклоне и увлечется жутковатой красотой кажущихся стальными волн, блестящих под сполохами, и насладится утренним сиянием мертвых ледяных просторов, на которых вдруг показывается жизнь: то тюлень на льдине, то белый медведь. Душа полетит низко над водой, смешиваясь с воздушными потоками и вихрями закручивающихся волн, и не испытает ни страха, ни холода – только упоение полетом и ощущение близости к великим стихиям. Это и есть в чистом виде «морская душа», описанная в книгах, воспетая в песнях.

Но я всегда наслаждался и пребыванием в лугах и лесах, сверху похожих на теплые осенние моря, бурно зеленеющие от микроскопических водорослей. И душа моя воспарится над ними и, любуясь, сделает плавные неторопливые движения, а потом, если выдастся летняя пора, промчится над Землей на бреющем полете, задевая своим энергетическим полем ветки деревьев и сочные травы, и мягко поколебленные ею цветы прощально махнут ей вслед дикими скромными венчиками.

Душа моя пронесется над городами, селами и по пути заглянет в лица стариков, старух и молодых людей, бледные, изможденные голодом, холодом и неверием в светлое будущее, и многие почувствуют ее прикосновение и удивятся легкому освежающему ветерку, когда на улице будет стоять тихая погода...

Потом она ненадолго прилетит домой. К тому времени тело зареют, но в доме сохранится траурная обстановка, во всех углах заляжет тревожная тишина и останется завешенным настенное зеркало, чтобы душа, видимая в нем, не испугалась сама себя. Я не знаю, кого душа застанет дома, но, надеюсь, лишь внучку и жену. Хорошо бы, только они одни и хоронили меня, хотя и чужим не запретишь, даже людям, весьма душе твоей неприятным. Дороже внучки и жены никого у меня после матери в жизни не было. Они любили меня, труднолюбимого, глубоко уважали и очень берегли, безропотно терпели мои бесконечные писательские занятия и особенности настроения, переменчивого, словно погода в северных морях. Они поплачут обо мне, я знаю, а больше не поплачет никто, и я этого не хочу. Душа моя благоговейно прикоснется к жене и внучке, нежно обволочет их лица и, как сможет, запечатлеет прощальный поцелуй. Она задержится, наверно, в небольшом закутке одной из пары наших комнат, повитает над письменным столом, за которым я написал немало страниц, погрузит о том, что больше уж ничего не напишу и она не войдет главной составляющей в мои консервативные тексты. Но, может, душа и не пожалует ни о чем подобном. Ведь все было напрасно. Я старался делиться с людьми опытом жизни и душевных потрясений, но они без меня знают, что плохо и хорошо, и я им только мешаю, тем более, что мое знание часто не совпадает с их собственным, навеянным соблазнами веселья, богатства, распутства...

Но, возможно, все случится по-другому: внучка выйдет замуж и покинет наш дом, жена отправится в межзвездный полет раньше меня, и я останусь один на свете. Одному жить нельзя, невозможно, тем более в ощущении каждодневной утраты сил. Пойду в богадельню. Трагедии в этом нет. Трагедия – не в богадельне, а в одиночестве души, в навязчивой мысли, что, наверное, ты напрасно с юных лет до глубокой старости сосредоточивал силы на достижении высоких целей. Ибо вон оно как все вышло. Понятия, словно одежда, вывернулись наизнанку, и люди тоже вывернулись – многих я узнаю только по внешнему виду, но не по внутреннему содержанию. Добро и зло поменялись местами. Славны были праведник, храбрец, подвижник, умник, добряк, бессребреник, славны стали вор, ловкач, деляга, холуй, тупица, злодей и стя-

жатель. Ну как тут не ощутить полное свое поражение, унижение, попрание в тебе человеческого достоинства?..

*Пока решал задачу,
Как возродить страну,
Сосед построил дачу,
Фасад – под старину.*

*Нет зависти особой —
Страна важней всего!
Но убеждать не пробуй
Ты в этом никого!..*

Может быть, и похоронят меня не в гробу, а – из-за нищеты старческой богадельни – в пластиковом или бумажном пакете. А что, тут нет ничего удивительного, многих бедняков так хоронят, вон у нас положили в пакет известного поэта, очень хорошего, на гроб денег не было...

Но на девятый день душа рванется ввысь, в космос, и, разгоняясь до чудовищных скоростей, помчится меж звездами. Это и ритуал, и испытание души на выносливость, греховность, на право свободного переселения. В межзвездном полете она узрит такие чудеса, такие фантастические красоты, какие не приснятся ни одному разумному человеку. Ее поразят внеземные краски, состоящие не из семи цветов спектра белых лучей, а из большого количества цветов иных космических спектров, меняющихся в разных системах отсчета. Она увидит рождение новых и гибель старых звезд, движение бурлящих плазменных паров и ядерные взрывы, раскалывающие космос. Ее многонаправленному взору представятся и гигантские воронки «черных дыр», и выгнутые поверхности «искривленных пространств», и хороводы разновеликих планет и звезд, и волшебные свечения неизвестных источников...

Но душа скоро отвлечется от созерцания космических картин. Они ей быстро наскучат. Душа сильнее грустит о родственных душах, оставленных на Земле, в первую очередь о милых жене и внучке. С горечью помыслит субстанция о том, «что случилось, что стало в стране», почему страна лежит поверженная и угнетенная, раздробленная и разграбленная, с неработающими заводами, одичавшими пашнями и отчего многие ее граждане вдруг разом обернулись, как сказочные чародеи: прямодушные – лицемерами, бессребреники – охотниками до денег, целомудренные – пошляками, социалисты – капиталистами. Я, пока еще живой, кладу руку на сердце и громко заявляю, что не в силах понять происходящее. Если бы меня даже жгли на людной площади, я не смог бы ответить на главный вопрос: зачем все это, чего мы добиваемся? Для чего нас неустанно зазывают сладко есть, пить, утопать в роскоши, бесконечно петь и плясать, нередко обрекая самых достойных жить в нищете, лишая обыкновенного хлеба насущного? Но, допустим, у всех будет по пять машин, паре вилл и крупному счету в банке. А дальше что? Разве каждый унесет богатство с собой в могилу или благодаря ему протянет лишнюю тысячу лет? Не обольщайтесь, господа. Не успеете обернуться, а уж пора душе в звездный полет, к которому вы не сумели ее сберечь и подготовить. Я прожил на свете немало лет и давно заметил, что большой достаток лишает человека души. Гладким, белым становится лицо богача, но как бы пластмассовым, безжизненным. Его глаза хлопают пластмассовыми веками, но перестают сиять, блестеть, суроветь и нежнеть, плакать и смеяться, в них не отражается даже сморщенная увядшая душонка – только биологические потребности тела да цифры банковских счетов...

Но душа Альберта Карышева будет метаться по космосу, предвидя близящийся неотвратимый день, сороковой после смерти плоти, волнуясь и беспредельно наращивая скорость. Я

не знаю, кого во мне к концу жизни станет больше: праведника или грешника и хватит ли душе сил переселиться в новое живое существо. Стараюсь, чтобы все кончилось благополучно, и желаю своей душе надежного пристанища в тельце крепкого младенца мужского пола. Пусть из мальчика вырастет яркий, как солнце, политик, дерзкий боец за справедливость и русскую честь, могущий собрать и сплотить несметные силы ратоборцев и с ними противодействовать затхлomu иноземному владычеству, временно, словно татарское иго, воцарившемуся в России.

До встречи!

Из хроник грядущего

Сон

1

Сон тягостный, ужасный, вязкий, как смола.

От него не спастись, он не уходит из памяти; и господин Грешнов, открыв среди ночи глаза, ощущая на лице холодную испарину, водит ладонью по лбу, шевелит губами и думает: «Было или грезилось? Видел кошмар или натурально спускался в проклятое подземелье? Что делать? Что делать? Несомненно, однажды со мной что-то подобное случилось. Но где, когда и каким образом?»

Он протягивает руку и нащупывает плечо жены, крепко спящей, прихрапывающей, поднимает над подушкой голову – перед ним широкие венецианские окна его спальни. Слабый звездный свет сочится в спальню с улицы. Летняя ночь тиха, душновата, и сквозь открытые окна не веет прохладой, и дорогие полупрозрачные гардины не шелхнутся. Озирается, видит большое напольное зеркало, отражающее дымчатый звездный свет; знакомые предметы обстановки различает Грешнов в ночном сумраке и снова раздумывает: «Слава Богу – сон. Я богатый добропорядочный человек. Но откуда в моей памяти это мрачное грязное подземелье? Может быть, оно есть где-то среди развалин старого города, но какое я имею к нему отношение?»

Грешнов зевает, зажмуривает глаза и пробует уснуть; но стоит ему, ощутив невесомость, начать погружаться в глубокую дрему, как он вновь, спускаясь по шаткой скрипучей лестнице, переносит в подвал тяжелые пластиковые мешки, мягкие и теплые. Спустился. Кинул мешок возле ног. Щелкнув выключателем, зажег электрическую лампу под дощатым потолком. Тусклый свет озарил подземелье: земляной пол, кирпичные стены – у одной рассыпана картошка, у другой теснятся бочки, пахнущие укропом, чесноком, квашеной капустой. Посреди подвала вырыта яма, в груде черной земли торчит лопата.

Он, Грешнов, берет мешок, подтаскивает к яме и, прежде чем его туда кинуть, слегка его раскрывает. В мешке много мяса, в мясе видны человеческая голова и руки – в загустевшей, кажущейся черной крови. Волосы на голове слиплись, глаза открыты, выкачены, как шары, пальцы на желтых руках скрючены. Грешнову противно и страшно, в горле у него спазмы тошноты. Огромным усилием воли он вырывается из ночного кошмара, словно всплывает со дна омута, опять лежит с раскрытыми глазами и думает: «Что это – отголоски позабытого злодейства? Но как можно забыть такое? Однако, похоже, правда. Слишком натурально. Страшно себе признаться, но каким-то образом я убил человека и, расчленив, закопал по частям в подвале. Вот только подвал этот – откуда он? С детства я жил очень хорошо, вращался в приличном обществе, занятия мои и помыслы были чисты, благородны, и допотопные земляные подвалы я видел только в кино, на картинках и на экскурсиях по развалинам старинных построек».

Спустив ноги, Грешнов садится на кровати, берет с полированного столика сигареты и зажигалку. Жена просыпается, внимательно на него смотрит и спрашивает:

– Что не спишь?

– Докурю и лягу, – отвечает Грешнов.

Лечь-то он лег, но так до утра глаз и не сомкнул.

2

Утром жена наклоняется, приглядывается к супругу, гладит его по ввалившейся щеке.

– Что же это с тобой? – говорит она.

– Ничего такого. Голова побаливает. Бог с ней, пройдет.

– Зря храбришься, милый. Выглядишь очень плохо.

Грешнова приносит ему лекарство от головной боли, льет воду в хрустальный стакан из хрустального графина. Она давно одета в красивое платье, свежа, благоухает французскими духами. Муж не спешит встать с постели, тянется, сдерживая зевоту. У Грешновых пятеро взрослых детей. Супруги уже в годах, седы, как одуванчики, но старыми их не назовешь: оба спортивные, сухопары, подтянуты. День по календарю нынче простой, будничней, но утро столь ясно, что кажется, будто наступил большой светлый праздник. И спальня Грешновых, мягко освещенная ранним солнцем, предстает во всем своем великолепии: сложная лепнина на высоком белом потолке, дагестанский ковер во весь паркетный пол, зеркало в тяжелой раме с завитушками, превосходная гипсовая копия Венеры в углу на постаменте, электрокамин, отделанный пестрыми изразцами, на камине тяжелые часы с купидонами, розовая тканная драпировка стен, две скрещенные арабские сабли на стене... Все под ретро, под барокко и ампир – в убранстве зажиточных домов вернулись старинные стили. Модерн лишь в эллипсоидном телевизоре да лучевой книжной полке черного дерева, крутящейся вокруг платинового стержня, и не книги на полке, а краткие звукозаписи шедевров мировой литературы, мода на классические типографские томики давно прошла, их читают лишь не придерживающиеся моды серьезные люди.

– Не работай сегодня, позвони в офис, отдохни от дел, – советует мужу госпожа Грешнова. – Я знаю, ты плохо спал, поспи сейчас, дела никуда от тебя не денутся.

Не ответив, он поднимается с постели, берет шелковые тренировочные брюки и ловко, как молодой, натянув их на себя, спешит босым по чистейшему полу в спортивный зал. Размявшись там на шведской стенке и гиревом станке, Грешнов чисто бреется, плещется, отфыркиваясь, в душе и, переодевшись в белые брюки и синий служебный пиджак с серебряными пуговицами, садится завтракать в столовой. Столовая пуста, уютна; ее украшают бронзовые канделябры, семейный герб Грешновых и натюрморт кисти голландского художника восемнадцатого века Кальфа, хозяин купил его в Англии на аукционе полотен из российских музеев. Семейный герб представляет собой щит, на котором стилизованный лев, стоящий на задних лапах, держит мешок с долларами и пальмовую ветвь. Эта символика Грешнову не нравится. Но герб есть герб.

Он сидит в одном конце стола, а жена в другом. Красотка-горничная подает хозяину газеты на английском языке. Грешнов любит пробежать, пока завтракает, свежую прессу глазами. Горничная в голубой тунике и белой кружевной наколке. Ее движения легки, целесообразны и до последней степени предупредительны, ее улыбка мила, приветлива и в меру чувственна – по моде. Девушка училась на высших курсах домашней прислуги, работает у Грешновых недавно – вместо безжалостно изгнанной ленивой служанки, – но успела им понравиться. Глянув в последний раз на стол: все ли там есть и удобно ли размещено? – она желает хозяевам приятного аппетита и оставляет их одних.

– Что пишут в газетах? – спрашивает госпожа Грешнова, наливая себе кофе в тонкую фарфоровую чашку, на которой оттиснен японский самурай. – Что в мире нового?

Она добавляет в кофе сливки, кладет сахарный песок и помешивает горячий напиток золоченой ложечкой.

– Ничего нового там нет, – говорит муж, вяло листая газету. – Все одно и то же: хроника семейной жизни богатых домов и правящих особ, политические сплетни, курсы валют.

Надоело. Скучища. Хоть бы Снежного человека поймали, или кто-нибудь прилетел с другой планеты, или, на худой конец, взорвалась бомба в крупном коммерческом банке.

– Ну, ты скажешь!

– А что? Не мешало бы. Слишком много этих чертовых банков развелось, надо бы поуменьшить.

– Поуменьшить можно иначе: пусти по миру. Ты сильный, кого хочешь можешь разорить. А взрывать зачем?

– Для развлечения.

Грешнов мрачно усмехается; оставил газеты, мажет маслом хлеб, и на масло кладет черную икру. Он не в духе, и госпожа Грешнова прикусывает язык, она ведет себя с мужем тонко, деликатно и знает, когда, как и что ему сказать. Не сегодня она заметила, что он не только тревожно спит, но вообще с ним происходит что-то необыкновенное: муж вдруг нацеливает взгляд как бы внутрь себя, словно пытаясь увидеть собственную душу, хмурится, вздыхает, а он человек с крепкими нервами, жизнелюбивый, трезво мыслящий, как и положено крупному банкиру.

Он задумчиво ест, вспоминая странный навязчивый сон, а жена следит за тем, как меняется выражение его лица, подернутого пепельной бледностью, осунувшееся после скверного ночного отдыха. В некоторые мгновения муж так смурнеет, что и обстановка за столом, чудится Грешновой, становится мрачной: солнце заходит за тучу, блекнут чайные розы в японской вазе, а скатерть и крахмальные салфетки утрачивают ослепительную белизну.

3

Позавтракав, они отправляются по делам: Грешнова в Комитет помощи бедным – давно она им бескорыстно заведует, чтобы не проживать жизнь впустую, – а муж к себе в банк. Каждый выводит из гаража свою машину. У жены – белый открытый лимузин на солнечных батареях. Господин Грешнов садится в старый добрый электромобиль черного цвета, похожий спереди на улыбающуюся акулу. Выехав на центральную улицу, банкир медленно ведет машину в потоке транспорта. Поток этот – как величавая полноводная река, у него широкое русло и бесконечное плавное течение. Тут больше всего гелиомобилей, хотя есть еще консервативные машины на тяге от электроаккумуляторов; но все-таки двадцать второе столетие на дворе, и главная энергия, питающая двигатели машин, – энергия Солнца.

Прямые ровные улицы, остекленные небоскребы, искусственные деревья и цветы, многокрасочная реклама... Все надписи на английском языке. Официально в России два государственных языка: русский и английский, но в служебных целях используется английский, все деловые бумаги пишутся на нем, все рекламные проспекты. Передачи по радио и телевидению – тоже на английском. Общение в свете – на английском. Бизнесмены, политики, интеллигенция говорят меж собой по-английски. По-русски – только в узком семейном кругу, среди близких друзей и с прислугой, причем в моде простой старинный слог. Русский, конечно, в обиходе простонародья, особенно среди крестьян. Но и здесь его теснит английский, например, деревенских пастухов зовут ковбоями; дом – коттедж, танцзал в сельском клубе – дансинг, уборная – ватерклозет, пивная – публик-хаус. Все шире, шире. И то сказать: давно назрел в мире вопрос о присоединении России к Американским Штатам Европы, и мешает тому одно обстоятельство: российские власти пока не готовы лишиться русский язык положения государственного языка...

Грешнов внезапно решает не ехать на службу. Он не способен сегодня работать. Обойдутся без него. Он глава банка и может позволить себе отсутствовать на будничных плановых совещаниях. Выруливает на стеклопрофилитовый спуск к реке, текущей через город. Съезжает, останавливается, глушит мотор и звонит по телефону спутниковой связи в правление

банка. Выходит из машины и по ступенькам, держась за никелированный поручень, поднимается на мост через реку. Мост ажурный, подвесной, парящий в воздухе. С него открывается грандиозная панорама, составленная из сооружений передового зодчества: заоблачных мачт, разновеликих шаров, высотных цилиндров, параллелепипедов, пирамид. (Надо отдать должное архитекторам: предусмотрели они и огромные церкви, затмевающие даже некоторые цилиндры и параллелепипеды.) Господин Грешнов облокачивается о стальные перила и, свесив голову, смотрит на солнечную сверкающую воду. Из головы не выходит сон. Банкир пытается сообразить, когда он мог так зверски прикончить человека, и начинает припоминать время своей не слишком бурной, но и не особенно воздержанной молодости. Он с усердием занимался на финансовом факультете, иногда, не злоупотребляя, выпивал в компании, но как-то дал себе послабление и пустился с друзьями-студентами в трехдневный загул. Были девушки, много вина, было очень весело; и в течение этих дней господин Грешнов с непривычки напивался до бесчувствия, выходя из которого видел только сизый туман да мелькание теней, а слышал отдаленный гул водопада – преобразившееся в его сознании застольное буйство.

«Не мог ли я в дни скотского пьянства совершить тяжкое преступление? – думает Грешнов, продолжая глядеть на воду. – Нет, – качает головой, – не мог. Мертвецки пьяному не под силу убить, расчленить, закопать да еще незаметно от собутыльников. И что это за человек, возможно, убитый мной? Никто из моих знакомых, помнится, никогда никуда не исчезал. В-третьих, зачем мне было убивать кого-то? А в-четвертых, не знаю я никаких подвалов».

Он прохаживается по пешеходной дорожке моста. Мост слегка гудит и колеблется, когда по нему проезжают тяжелые машины. Потом господин Грешнов, пристукивая каблуками, спускается к электромобилю, садится в него и, уехав за город, долго, на хорошей скорости, гоняет по ровной дороге, облитой голубой строительной глазурью.

4

На ночь он крестится. Икон Грешновы в доме не держат, не очень-то верят они в Бога и редко молятся, но молиться принято: на сон грядущий, перед едой – этому учили в школе, это в обиходе приличного общества. Сегодня банкир крестится со значением: ему страшно, он просит Бога отвести кошмарный сон и дать ему, Грешнову, выспаться как следует. «Может, Бог есть и поможет», – думает он.

Банкир стоит возле постели и, осеняя себя крестным знамением, смотрит в пространство. На нем свободные шелковые трусы, лоснящиеся в свете слабого ночного светильника; пижам и спальных рубашек он не признает, обычно ложится по пояс голым. Госпожа Грешнова уже забралась под летнее хлопковое одеяло, украшенное рисунком из мелких цветных стразов. Ее седая голова – в кружевном чепце, как у старинной барыни. Грешнова внимательно следит за супругом. «Раз взялся молиться, – рассуждает она, – значит, сильно припекло. Господи, что с ним? Может быть, опасно заболел и скрывает? Сам ничего не говорит, а я не стану сердить его и расспрашивать».

Улегшись возле жены, Грешнов протягивает руку к кнопке светильника и гасит свет. Спать он хочет, но изо всех сил держит открытыми глаза, вглядываясь в детали обстановки, едва очерченные в ночной темноте. Но глаза слипаются, воля слабеет; тело выбрало удобное положение, обмякло и чувствует сонный покой. Незаметно для себя господин Грешнов засыпает, и тотчас... его гнетет тот самый кошмар, ныне более подробный, начинающийся с видения какого-то мрачного бревенчатого дома.

Вот Грешнов в доме, в маленькой комнате с занавешенными окнами; ночь, тишина, слабый электрический свет. Грешнов перебирает пластиковые мешки. Набив их частями человеческого тела, собрав все до последнего куска, он относит нелегкие мешки один за другим в подвал, люк которого находится здесь же, в комнате, и крышка люка откинута к стене.

Накал одинокой лампочки высвечивает землю под ногами, кирпичные стены, дощатый потолок. Грешнов складывает теплые мягкие мешки у свежерытой ямы. Банкир понимает, что спит, и во сне он прислушивается, оглядывается, с опаской смотрит на квадратный люк подвала: не исходит ли от люка какая угроза. Потом, раздвоившись, он сам себя видит со стороны и до конца не узнает: вроде он, но вроде бы не совсем похож. Этот Грешнов, из сновидения, пожалуй, меньше ростом, плотнее; лицо сравнительно молодое, но не это главное в лице с чертами Грешнова, а то, что оно грубо, злобно и подпорчено шрамом на щеке. Грешнов из сновидения одет необыкновенно – так не одеваются уже лет двести: в какие-то серые бедные штаны, заправленные в кирзовые сапоги с отогнутыми голенищами, в черный пиджак, тоже не богатый, под пиджаком рубаха с расстегнутыми пуговицами, под ней полосатая майка, ее в прошлые века носили моряки, и называлась она тельняшкой. Все эти вещи банкир Грешнов видел в краеведческом музее.

Его неполный двойник трогает мешок обеими руками, а зловещую мягкость и теплоту мешка ощущают руки настоящего Грешнова. Двойник перед тем, как сбросить груз в яму, разворачивает один мешок, а сердце сжимается от ужаса у господина банкира. В мешке опять – голова, руки, мясо. Грешнов мычит, задыхается, но нынче сон держит его крепче, чем вчера, и, опять соединившись с двойником, банкир хватает лопату и быстро закапывает яму.

Заравнивает, притаптывает секретную могилу; сверху раскидывает солому, вилами перебрасывает на солому груды картошки, двигает бочки с капустой и огурцами. Гасит свет и по шаткой лестнице выбирается из подвала. В комнате он сперва топит русскую печь лежащими в подпечье дровами, сворачивает расстеленную на полу клеенку, на которой расчленил труп, раздевается донага и все – одежду, сапоги, клеенку – отправляет в огонь. Голым бежит во двор, приносит в комнату ведро воды, зачерпнув из бочки под дождевым стоком, и отмывает заляпанную кровью пол, руки, подошвы ног. Достав из подпечья кожаную сумку, набитую деньгами и драгоценностями, он ее потуже перевязывает, заворачивает в чистую клеенку и снова лезет в подвал, чтобы, вынув там из стены кирпичи, запихать сумку в тайник. Вернувшись в комнату, Грешнов одевается, обувается в новое, дрожа, как в лихорадке, обливаясь потом, и... приходит в себя с помощью жены.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.